В. Ропшин
(Б. Савинков)

То, чего не было

Борис Викторович Ропшин
То, чего не было (с приложениями)

OCR Busya
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=169753
В. Ропшин (Борис Савинков) «То, чего не было»: Художественная литература; Москва; 1990
ISBN 5-280-01326-9

Аннотация

Роман «То, чего не было» В. Ропшина, принадлежащий перу одного из лидеров партии эсеров, организатору многих террористических актов Борису Савинкову (1879–1925), посвящен революционным событиям 1905–1907 гг. В однотомник включены (раздел «Приложение») воспоминания матери Б. Савинкова С. А. Савинковой (1855-?) «Годы Скорби» и «На волос от казни», а также статья Г. В. Плеханова (1856–1918) «О том, что есть в романе „То, чего не было“».

Содержание

Савинков Борис Викторович. Он же В. Ропшин 4
Часть первая 33
I 33
II 41
III 48
IV 55
V 60
VI 71
VII 79
VIII 87
IX 95
X 101
XI 111
XII 119
XIII 128
XIV 139
XV 148
XVI 159
Конец ознакомительного фрагмента. 166

В. Ропшин (Борис Савинков) То, чего не было

Савинков Борис Викторович. Он же В. Ропшин Беглые заметки вместо академического предисловия

На севастопольской гауптвахте он ждал петли.

В камере на Лубянке ждал пули исполнителя.

И виселица, и расстрел причитались в точном соответствии с законом. В молодости – по законам Российской империи. В зрелости – по законам Российской республики.

21 августа 1924 года он приступил к письменным показаниям. Почерк был твердым, текст сжатым, как возвратная пружина браунинга.

«Я, Борис Савинков, бывший член Боевой организации ПСР,[1] друг и товарищ Егора Созонова и Ивана Каляева,

[1] Партия социалистов-революционеров (эсеров).

участник убийства Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, участник многих других террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа, во имя его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках».

27 августа 1924 года Военная коллегия Верховного Суда СССР начала слушанием дело Савинкова.

29 августа председатель объявил заседание закрытым.

Савинкова Бориса Викторовича, 45-ти лет, приговорили к высшей мере наказания с конфискацией имущества.

Имущества не было. Конфискации подлежала жизнь.

К опытам этой жизни, напряженно-нервным, как снаряжение бомб в подпольной мастерской, обращался писатель В. Ропшин.

Ахматова сказала о чеховском «Рассказе неизвестного человека»: «Как это фальшиво, искусственно. Ведь Чехов совершенно не знает эсеров». Ропшин эсеров знал, ибо был Савинковым.

В его прозе много заемного? Пусть так. Зато фальши-то нет. Он изобразил Коня бледного. Конь вышел блеклым, но не пряничным. От него шибало потом и сукровицей погони.

Из глубины сибирских руд отозвался читатель, каторжанин-террорист: искренностью и силой взволнован до глубины души; все писано слезами и кровью сердца; нет ни одного не выстраданного слова.

Имя этого читателя Савинков назвал в первых строках своих августовских показаний 1924 года.

За двадцать лет до того они с Егором Созоновым готовили покушение на министра внутренних дел, статс-секретаря и сенатора Плеве.

Идеалом Плеве была вечная мерзлота политического грунта. Ему говорили, что со дня на день возможна студенческая демонстрация, он отвечал: «Высеку». Ему говорили, что в демонстрации примут участие курсистки, он отвечал: «С них и начну». Надо бы уточнить. Начинал Вячеслав Константинович – и продолжал – не розгами, а кандалами и эшафотами. Символ всего сущего он видел в параграфах инструкций. Он был столь же фанатичным бюрократом, как и свирепым шовинистом. Именно Плеве разгромил украинских мужиков-повстанцев. Именно Плеве подверг военной экзекуции грузинских крестьян. Именно Плеве науськивал погромщиков на еврейскую голытьбу. Именно Плеве гнул долу финляндцев. И желая воздать должное коренным подданным, утопил русских матросов в пучинах Цусимы, русских солдат загубил на сопках Маньчжурии: именно Плеве подвизался в дворцовом круге рьяных застрельщиков Русско-японской войны.

– Я сторонник крепкой власти во что бы то ни стало, – бесстрастно диктовал он корреспонденту «Матэн». – Меня ославят врагом народа, но пусть будет, что будет. Охрана моя

совершенна. Только по случайности может быть произведено удачное покушение на меня.

Интервью французскому журналисту дал Плеве весной 1902 года, усаживаясь в министерское кресло. Озаботившись личной безопасностью, он, что называется, брал меры: уже возникла эсеровская Боевая организация. Отметим претонкое обстоятельство – Плеве рассчитывал и на сверхсекретного агента-провокатора, фактического руководителя боевиков.

Эта надежда взорвалась вместе с метательным снарядом.

Июльским утром девятьсот четвертого года в Петербурге группа Савинкова настигла карету министра на Английском проспекте. Плеве сразила бомба Егора Созонова, тяжко израненного ее осколками.

Эхо разнеслось всероссийское. Не станем цитировать ни революционеров, ни левых интеллигентов. Не потому, что страшен зубовный скрежет новоявленной генерации монархистов, а для того, чтобы рельефнее обозначить общую реакцию на чрезвычайное происшествие.

Князь М. В. Голицын, отнюдь не левый и уж, само собой, не инородец, писал в своих неопубликованных мемуарах: «Признаться, никто его не пожалел. Он душил всякую самую невинную инициативу общества». В мемуарах Сухотиной-Толстой читаем: «Трудно этому не радоваться».

Если ей было трудно не радоваться, то как было не ликовать Борису Савинкову? Нет, не ликовал.

Литератор, не раз встречавший Савинкова, резкими штрихами портретировал Бориса Викторовича: сухое каменное лицо, презрительный взгляд; небольшого роста, одет с иголочки; не улыбается, веет безжалостностью. Однако подпольщица, отнюдь к сантиментам не склонная, увидев сокрушителя Плеве, навсегда запомнила мертвенное лицо потрясенного человека. Весь его облик она сравнила с местностью после потопа: и тот, прежний, и не тот, не прежний.

Но в седле он удержался. Устремляясь в атаку, не помышляют о келье для скорбящей души. И не озираются в поисках госпитального фургона.

Кровавое воскресенье девятьсот пятого года насквозь прожгло Боевую организацию. Народное шествие, осененное ликом Спасителя, торжественно-умиленное хоровым призывом к царю царствующих хранить царя православного, мирное шествие просителей, стекавшееся к Зимнему, было расстреляно, искромсано, разметано, растоптано.

Еще и сороковины не справили по невинно убиенным 9-го января, как группа Савинкова изготовилась к удару по династии. Кровь, пролитая на пути к Зимнему дворцу, отозвалась кровью, пролитой близ Николаевского дворца. В Кремле был убит генерал-губернатор Первопрестольной.

Бомбист, схваченный тотчас, объявил на первом же допросе:

– Я имею честь быть членом Боевой организации партии социалистов-революционеров, по приговору которой я убил

великого князя Сергея Александровича. Я счастлив, что исполнил долг, который лежал на всей России.

Следователь по особо важным делам Головня, вероятно, поморщился от этого пылкого: «я счастлив». А может, и не поморщился. В архивном документе московской охранки зеркально отразилась Белокаменная: «Все ликуют».

Бомбист, однако, отказался назвать свое имя. То было правило боевиков: покамест установят твое имя, товарищи успеют скрыться. И верно, группа Савинкова не пострадала. Перелистывая архивную связку, некогда хранившуюся в Особом отделе департамента полиции, убеждаешься в энергии розыска. Но лишь в середине марта прилетела депеша из Варшавы: «Убийца великого князя несомненно упоминаемый циркулярами 1902 г. №№ 1907, 5000 и 5530 Иван Платонов Каляев, приятель Бориса Савинкова».

Иван Каляев испытывал к Савинкову не просто дружество, а «чувство глубочайшего восторга» – утверждает боевик, вблизи наблюдавший и того, и другого. Восторг этот можно, конечно, отнести на счет натуры Каляева – впечатлительной, чувствующей свежо и сильно; недаром прозвали его «Поэтом». Но ведь и Савинкову надо ж было обладать чертами, решительно несовместными ни с презрительным взглядом, ни с жестокосердием.

Каляева удушили на эшафоте.

Виселицу сооружали ночью на мрачном каменистом острове, в Шлиссельбургской крепости. На дворе плотничали, в

каком-то закутке покуривал палач, а в комендантском доме угощались военные и статские. Барон Медем, генерал, рассказывал «о многих казнях, свидетелем коих он был». (Сценку застолья воссоздал очевидец, прокурор, рукопись которого не опубликована полностью.)

Ночь стояла белая, майская.

«Дорогая, незабвенная мать, – писал осужденный. – Итак, я умираю. Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу отнестись к моему концу».

И – в последних строках: «Привет всем, кто меня знал и помнит».

Знали и помнили в городе Варшаве – улица Пенкная, 13, квартира 4. Там жили Савинковы.

Мать Каляева, овдовев, осталась с детьми почти без средств. Мать Савинкова пробавлялась на мужнину пенсию и на свои, не бог весть какие, литературные гонорары. Агентурная справка гласит: семья Каляевых сильно нуждается; ей помогает семья Савинковых.

В доме на Пенкной понятия «революция», «полицейщина», «деспотизм» не были отвлеченными. Старший сын погиб в якутской ссылке. Борис едва избежал участи Созонова, участи Каляева.

Его первый арест пришелся на вьюжное Рождество девяносто седьмого года. Ох, как нетерпеливо поджидали Бореньку, студента Петербургского университета. Он приехал.

Мать радовалась: сыновья выходят в люди, младшие дети здоровехоньки. Мужем она гордилась. Поляки называли его «честным судьей», это было высокой похвалой – легион мундирных русификаторов царства Польского не блистал ни честью, ни честностью.

Судья Савинков недурно изучил право. Увы, ему привелось полной мерой познать бесправие. Еще не притупилась боль от гибели первенца, как второй сын был увезен из Варшавы в Петербург, на Шпалерную, в тюрьму. Савинков-старший заболел, его отчислили из министерства юстиции. Им овладела мания преследования. Самая стойкая мания там, где неизбывна мания преследователей. Тенью скользил он по комнатам, губы дрожали: «Жандармы идут… Жандармы идут…»

Не будем задерживаться на тюремно-этапно-ссылочных перипетиях Савинкова. Не ахти как трудны они в сравнении с нашими недавними годинами. Примечательно вот что: Савинков начинал социал-демократом. В ссылке он написал статью «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии». Статья, по слову Ленина, отличалась искренностью и живостью. А главное, совпадала с его размышлениями о том, что делать, ибо молодой автор прокламировал насущную необходимость «единой, сильной и дисциплинированной организации».

Однако, внеся свой пай в изначальный капитал «партии нового типа», Савинков вскоре изменил социал-демокра-

тии. Не овладели ли душой будущего Ропшина эмоции, созвучные замятинским? Евгений Замятин признавался: я был влюблен в Революцию, пока она была юной, свободной, огнеглазой любовницей, и разлюбил, когда она стала законной супругой, ревниво блюдущей свою монополию на любовь. Что-то эдакое чуется и в Савинкове, разве что в обратном варианте.

Расхожие представления угнетают одноцветностью. В таких представлениях большевик как бы держатель контрольного пакета с акциями-истинами, он на дружеской ноге с токарями-слесарями. Меньшевик – пенсне на местечковом носу – суетлив, труслив, трухляв, токаря-слесаря над ним потешаются. А эсер, этот взбесившийся мелкий буржуа, прикидываясь другом народа, носит косоворотку, и такой уж нервный, такой нервный, будто за пазухой у него адская машинка; он либо бомбист, злонамеренно мешающий развитию массового движения, либо нахал, дергающий за бороду Карла Маркса.

Да, эсеры держали курс на «обычную» парламентарную республику. Да, чаяли демократического самоуправления. Крупное коллективное землепользование видели лишь за горизонтами всевозможных кооперацией. И смели полагать, что российский «капитализм еще не исчерпал своих положительных возможностей», а государственный социализм, учрежденный поспешно и судорожно, «провалится с треском».

Спору нет, они вели политический террор – и против тузов режима, и против мелких козырей с шевронами за беспорочную службу режиму. «Террорную работу» (тогдашнее выражение) считали они партизанскими действиями, прологом действия регулярных сил. Всю эту «работу» осуществляла одна – не единственная, – а одна из эсеровских организаций – Боевая. Вот она-то и была огнеглазой любовницей Бориса Савинкова.

Ровно год спустя после гибели Каляева, в мае девятьсот шестого Савинкова изловили. Арест произвели так, словно «поручик Субботин», прибывший в Севастополь, вот-вот взорвет и город, и корабли на рейдах. Филеры заломили ему руки, полицейский офицер уткнул в грудь дуло револьвера, солдаты вкруговую ощетинились штыками.

Савинкова доставили на главную гауптвахту. Был назначен военный суд. Это ничего иного не означало, как только близость виселицы. Но все дальнейшее произошло словно в тюремных снах, пресекающих дыхание: верные товарищи, побег из-под стражи, парусный бот, бравый лейтенант и два дюжих матроса.

Счастливо разминувшись с броненосцем и миноноской, суденышко направилось к берегам Румынии.

Об одном из боевиков Савинков писал: «Он не представлял себе своего участия в терроре иначе, как со смертным концом, более того, он хотел такого конца: он видел в нем,

до известной степени, искупление неизбежному и все-таки греховному убийству».

Такое же желание владело и Пьером Безуховым, решившимся заколоть Наполеона. «Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское мужество».

Но Пьер и не помышлял о греховности убийства. На войне как на войне. А боевика, сколь бы он ни внушал себе – ты в тылу врага, – боевика пригнетало то, что он выслеживает жертву и нападает словно бы из-за угла. Э, усмехнутся скептики, бесы они, и шабаш. Полноте! И бесы веруют, говорит апостол. Интеллигентная девушка объясняла Савинкову: «Почему я иду в террор? Вам неясно? „Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю“. – И, помолчав, прибавила: – Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу».

Признавай иль не признавай религиозную струну в душе русского террориста имярек, но вот уж что решительно нельзя признать, так это русского почина в «террорной работе». И вовсе не потому, что апологеты родных осин клеймят русскую революционность печатью чужеродности. Кстати сказать, философ Н. Бердяев, ныне читаемый поспешно и жадно, числил национальной чертой и консерватизм, и революционность.

В конце 40-х годов текущего столетия дали команду бороться за приоритет во всех «регионах» бытия. И боже мой, где только не носились мы выше всех, дальше всех, быстрее всех. Однако о первенстве в таком деле, как экстремизм, не заикались. Хотя именно здесь-то и достигли в сравнении с 1913 годом неслыханного энтузиазма и невиданной деловитости. Нет, не заикались. Но годы спустя такой «приоритетен» подарил нам американский историк Ричард Пайпс.

Ужасаясь современному западному экстремизму, и это естественно, он, будто привстав на цыпочки и вытянув шею, расслышал глухой гром над Петербургом – народовольцы убили Александра II. Расслышал и указал: вот откуда все пошло. (Сейчас, когда плюрализм цветет, как вешняя черемуха, нашлись в наших палестинах его единомышленники. Без них-то, говорят, без этих-то народников и прочих масонов, мы бы ого-го где бы уж были.)

Так вот, если историк забывчив, то История злопамятна. Спросите, и она назовет множество террористов, множество террористических актов, явившихся городу и миру задолго до кроваво-динамитного морока над Екатерининским каналом.

И совсем уж поразительно, что Р. Пайпс слона не приметил. Ведь императора убили в марте 1881 года, а в июле 1881 года убили президента США. Суть не в хронологии, а в сущности. Ее выставили народовольцы открыто, публично:

«Выражая американскому народу глубокое соболезнова-

ние по случаю смерти президента Джеймса Авраама Гарфильда, Исполнительный комитет считает своим долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гито».

Что за притча? Простая, все определяющая по своим местам. Там, где существуют политические свободы, демократическая государственность, там «политическое убийство есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей».

Коль скоро дух деспотизма упорствовал, то бомба, убившая царя, оставила в живых идею цареубийства. Савинков, мягко выражаясь, был ей не чужд.

Литературные критики правы: Л. Н. Толстой оказал сильное влияние на В. Ропшина. Может быть, и мы не ошибемся, указав на некоторое влияние автора «Не убий» на Б. Савинкова?

Когда венценосцев, писал Толстой, убивают по суду или при дворцовых переворотах, то об этом обыкновенно молчат. Когда убивают без суда, то это вызывает в династических кругах величайшее негодование. (Как выяснилось, не только в династических. Но об этом чуть ниже.) «Самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, – продолжал Толстой, – были виновниками, участниками и сообщниками, – не говоря уже о домашних казнях, – убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений». И далее: должно удивляться, что их, королей, так редко убивают

«после того постоянного и всенародного примера убийства, который они подают людям». Толстой перечисляет: ужасные усмирения крестьянских бунтов, правительственные казни, замаривания в одиночных камерах и дисциплинарных батальонах. И вот эти убийства, утверждает Толстой, «без сравнения более жестоки, чем убийства, совершаемые анархистами».

«Не убий» написано в девятисотом. Без малого 90 лет спустя крестьянский сын, московский писатель, предложил собравшимся единомышленникам почтить вставанием память Николая II. Нас не шокирует ни это предложение, ни это вставание. Вот только один вопрос. Отчего вслед за тем крестьянский сын, московский писатель, не предложил почтить память усмиренных мужиков, солдат, умученных в дисциплинарных батальонах, питерских фабричных, убиенных 9-го января?

С Николаем II расправились в Екатеринбурге летом восемнадцатого года. В наши дни встрепенувшаяся общественная мысль столь резва, что нет-нет да и бежит по кругу, так сказать, отбеганному. Имеем в виду пресловутую погоню за вездесущими «масонами». Иные ловцы, наделенные специфическим нюхом, усматривают в екатеринбургском изуверстве (ведь и детей изничтожили) ритуальное действо нехристей. Вот только опять вопрос. Не привлечь ли к ответу Александра Сергеевича Пушкина? Алиби у него есть, но есть за ним и криминальная угроза: «Тебя, твой трон я нена-

вижу,// Твою погибель, смерть детей// С жестокой радостию вижу». Максимализм молодости? Положим, так. Однако как же быть со слезинкой ребенка? Каляев, террорист, оглашенный, дважды подступал с бомбой к жертве своей, но в первый раз, заметив в карете великокняжеских детей, – отшатнулся…

Сторонники «ритуальной версии» указывают: над трупами царской семьи глумились; такое невподым крещеному человеку. Да, глумились. Не только расстреляли, а и горючим облили, и… Язык немеет. Кромешный, как черная дыра, ужас. А невдолге после екатеринбургской трагедии труп Фанни Ка-план, облитый бензином, жарко пылал в железной бочке под сенью Александровского сада. Кремацию спровоpил матрос, комендант Кремля П. Д. Мальков. Пособлял ему случившийся рядом пролетарский стихотворец Демьян Бедный. Оба, кажись, не инородцы. А куда было податься коменданту, ежели еврей Свердлов не хотел осквернить нашу землю погребением еврейки Каплан? Тут-то, надо полагать, матросу и вспомнилось, как в марте Семнадцатого заживо кремировали в корабельных топках кронштадтских офицеров.

Нет уж, граждане, плуг истории, ржавый от крови, вспахивал не этнические, а совсем иные сущности. Если Пушкин «видел», то Лермонтов предвидел: «Настанет год, России черный год,// Когда царей корона упадет; //Забудет чернь к ним прежнюю любовь,// И пищей многих будет смерть и

кровь; //Когда детей, когда невинных жен //Низвергнутый не защитит закон».

Бакунин, дворянин, и Желябов, крестьянин, не разногласили: в груди народной – лавина ненависти. Ой ли, всполохнутся ревнители корней и почвы, ведь когда эти-то, как их бишь, убили Александра Освободителя, опечалилась, пригорюнилась избяная Русь… Так точно, соотечественники, и опечалилась, и пригорюнилась, больше того – прокляла желябовых. Но вот почему: сочла желябовых за господ – царь нас от крепости избавил, царь бы и черный передел учинил, а господа-то и порешили царя.

Не так уж и много лет минуло, «чернь» сбежалась к месту происшествия: убит сын царя-освободителя, великий князь Сергей Александрович. При виде его останков, еще как бы дымящихся, никто не обнажил голову. «Все стояли в шапках», – сообщал в охранку уличный филер. Он же зафиксировал и похвалу злодеям: «Молодцы, ребята, никого стороннего даже и не оцарапали, чего зря людей губить». Какая-то салопница подобрала не то косточку, не то палец убитого, мастеровой прикрикнул: «Чего берешь, чай не мощи!» Кто-то пнул носком сапога студенистый комок: «Братцы, а говорили, у него мозгов нет!»

Что же это такое?

Известный в ту пору бунтарь, священник Григорий Петров предупреждал: «Николай Романов ни полушки права народу не даст. И тогда уже кровь. Море крови. Ожесточе-

ние». Так вот, ожесточение, пока еще огражденное частоколом штыков, но уже предвещающее екатеринбургское остервенение восемнадцатого года.

По поводу последнего – теперь, задним числом – все можно: и морализировать, и экранизировать, и тиражировать, и эпатировать. Но куда важнее владеть чутким сейсмографом, подмечающим работу закона исторического возмездия, пока она, эта работа, происходит в недрах вулкана. А футболисты, играющие в одни ворота после того, как игра сделана, мало чего стоят.

Если уж говорить о «ритуальности», то в розановском смысле: «дай полизать крови». В. В. Розанов писал об этом А. А. Блоку. Блок отвечал: «Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем „дай полизать крови“. Но вот: Сам я не „террорист“ уже по одному тому, что „литератор“. Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных… И, однако, *так сильно озлобление* (коллективное) и так чудовищно неравенство положений – что я действительно не осужу террор *сейчас*».

Летом девятьсот шестого года в тумане моря голубом белел одинокий парус, уносивший Бориса Савинкова, сорвавшегося с виселицы. А далеко на севере, в Гельсингфорсе, раздался клич: «Виселицу Николаю!» – на трибуне громокипящего митинга был Леонид Андреев.

Боевая организация изначально ощущала себя душеприказчицей Исполнительного комитета «Народной воли». И

потому если народовольцы «устранили» Александра II, то эсеровские боевики помышляли об «устранении» его внука. Повторено стократ: в истории все приключается дважды – один раз как трагедия, другой раз как фарс. Социалисты-революционеры не были ни фарсерами, ни фразерами. Иное дело, не иллюзорной ли была преемственность?

Можно не мешкая выложить «пакет» с цитатами из высказываний политических оппонентов, как большевиков, так и меньшевиков. А можно прислушаться к сторонним голосам. И притом несколько неожиданным. Например, Лескова Николая Семеновича. К нему на сей счет никто, кажется, не обращался.

Многие боевики еще пешком под стол ходили, когда он, современник и отнюдь не сторонник народовольцев, горестно размышлял как раз о преемственности: «Сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества!» Спрашивал: «Но верна ли сама тактика?» Отвечал: нет, ибо отзовется свирепой реакцией.

Позже именно о тактике высказался автор «Не убий». И не то чтобы менторски, а скорее деловито-практически. «Короли и императоры давно уже устроили для себя такой же порядок, как в магазинных ружьях: как только выскочит одна пуля, другая мгновенно становится на ее место». Но не на пулю, как таковую, возлагал Толстой ответственность, а на ружье, т. е. на «устройство общества».

«Нетеррористическая сторона революционной борьбы

эсеров заслуживает и давно ждет специального исследования», – отметил в своем недавно опубликованном реферате студент Дмитрий Троицкий, трагически погибший в 1982 году. И верно, на прокрустовом ложе очень уж кратких курсов программе эсеров отрубили не ноги, а голову. Читателю времен перестройки и плюрализма было бы небесполезно познакомиться с их социально-экономическими концепциями.

Вернемся к тактике. Продолжая народовольческую, эсеры не замечали капитальное различие стратегической ситуации. Террор народовольцев – шаровая молния. Террор эсеров – спички, чиркающие во время грозы. Народовольцам досталась пора ледостава. Эсерам – досталась пора ледохода. Не будем иллюстрировать картинами общеизвестными. Спросим о частности: куда бы девался Леонид Андреев, выкликни он свой призыв в годины минувшие, а равно и нечто подобное в годины грядущие?

Но нет, эсеры не отрекались от тактики предшественников. А социал-демократы, признавая героизм народовольцев, писали и говорили: нам повторять их нельзя.

Этот решительный отказ от повтора весьма утешал охранку. Одним из первых спохватился жандармский генерал А. И. Спиридович. Читая по долгу службы «Искру», полную, по его собственному определению, «огня и задора», он, человек весьма неглупый, заключил, что «террор целого класса неизмеримо ужаснее группы бомбистов».

Тем временем, как уже говорилось, группа бомбистов ставила на повестку дня «центральный акт» – цареубийство. Он был сорван не столько потому, что в верхах партии нет-нет да и склонялись к пресечению террора, сколько потому, что был «центральный агент».

Заглавную роль сыграл случай, который не был случайностью, ибо всегда таится в лабораториях алхимиков революции. Маркс давным-давно предупреждал: заговорщики находятся в постоянном соприкосновении с полицией; небольшой скачок от профессионального заговорщика к платному полицейскому агенту совершается часто; заговорщики нередко видят в своих лучших людях шпиков, а в шпиках – самых надежных людей.

Именно так и произошло в Боевой организации. Лучшие люди, не выдерживая подозрений, накладывали на себя руки. А шпик-провокатор ходил в супернадежных.

Но вот что действительно поражает: он был вдохновителем и организатором всех побед. Он был неторопливв в поступках, и это казалось мудрой осмотрительностью. Он скупо ронял слова, и они казались весомыми. Он никого не любил, а казалось, что он любит всех. Низколобый и вроде бы сальный, он казался величественным.

В подполье его называли разными кличками. В департаменте полиции его подлинную фамилию – Азеф – держали под семью замками. Ни подполье, ни департамент не проникали до дна его «конспирации». Он плевал на теории правые

и левые. Он обвел вокруг пальца охранку, спланировав убийства и своего шефа Плеве, и великого князя Сергея Александровича. Он околпачил Боевую организацию, отправив на эшафот многих боевиков. Кредит доверия и кредит денежный он черпал разом из двух корыт. Гибрид шакала и вепря? Зверь из бездны? Такие определения были бы в духе литературы черного романтизма, махровые цветы которой расцвели одновременно с азефщиной. Никакой бездны, никакого романтизма, ни красного, ни черного, никаких психологических сложностей и надрывов – циничный мерзавец с неисчерпаемым запасом мерзостей, и только.

Разоблачение Азефа кончилось публичным партийным признанием кровавых мерзостей столпа партии. Культ Азефа лопнул, распространилось зловоние.

Но важнее факта изобличения, важнее анафемы было то, что нашлись люди этим неудовлетворенные. Они сказали партии, кто она есть, их партия. Централизм породил верховников. Верховникам не прекословя внимали низы. Между первыми и вторыми возникла каста бюрократов. Искательство перед кастой называлось «любовью к партии», холопское подчинение касте – «партийной дисциплиной».

Это не было ни отступничеством, ни ликвидаторством, ни ренегатством. Мужественные критики, соединившие ее с самокритикой, не устранялись от борьбы за демократическую Россию. Но, справедливо говорили они, необходимо «помнить, что перед тем, как эмансипировать других, мы должны

прежде всего эмансипировать себя – от своих заблуждений, от пережитков нравов, от пережитков мысли».

Все это происходило в девятом, десятом, одиннадцатом годах. Стало быть, принадлежит истории. Той самой, что повторяется дважды. Отчего же так плохо прослушиваются серьезные симфонии революции? Не потому ли, что на кандальной дороге, переименованной в шоссе Энтузиастов, их глушат бравурные марши?

Предательство Азефа словно бы расщепило и обуглило Савинкова. Как! Он – героический, неутомимый и несгибаемый, – он, в сущности, был «сделан» Азефом, точно гомункулус. Кровавый маклер, хоронясь за ширмой, дергал ниточки, а он, Борис Савинков, буревестник, черной молнии подобный, трепыхался над ширмой, словно чучело этой страшноватой птички.

Пытаясь разодрать нарывы самолюбия, он твердил о восстановлении престижа и чести партии. Сам же усомнившийся в методах «террорной работы» – устарели, несовершенны. – он тщился демонстрировать наличие пороха в пороховницах. Да вышел-то пшик. Без Азефа вышел пшик.

Это уж было совсем непереносимо. И кто знает, не служила ли беллетристика В. Ропшина спасительной соломинкой Б. Савинкову?

Годы спустя Сомерсет Моэм, знаменитый писатель и незнаменитый сотрудник британской разведки, в разговоре

с Савинковым заметил, что террористический акт, должно быть, требует особого мужества. Савинков возразил: «Это такое же дело, как всякое другое. К нему тоже привыкаешь». Напускная бравада человека, носившего маску – сухое каменное лицо, презрительный взгляд безжалостных глаз.

Шесть лет кряду он не жил в эмиграции, а существовал. Существовал на руинах Боевой организации. Его воскресила весна Семнадцатого. Трон рухнул, Савинков ринулся в Россию.

Весна была бурной и краткой, как в тундре. «Караул устал», – объявил карнач. С Учредительным собранием было покончено. Так полагал матрос и ушел на гражданскую. Не так полагал Савинков и тоже ушел на гражданскую.

Он блокировался с направлениями любого оттенка, лишь бы антибольшевистское. Даже и с монархистами, полагая, что наши бурбоны чему-то научились. Савинков готов был признать любую диктатуру (включая, разумеется, собственную), кроме большевистской. Он верил, что любой победитель, кроме большевиков, реанимирует Учредительное собрание. Его энергия была из того разряда, что называют дьявольской. Он бросался за помощью к англичанам, французам, белочехам и белополякам. Он командовал отрядами карателей, бандами подонков, наймитами шпионами. Пути-дорожки «савинковцев» чадили пожарищами, дергались в судорогах казненных.

Уинстон Черчилль, лично знавший Бориса Савинкова, дал ему место в своей книге с выразительным заглавием: «Великие современники». Савинков, писал Черчилль, сочетал в себе «мудрость государственного деятеля, качества полководца, отвагу героя и стойкость мученика». Умный-то умный, да сильно ж хватил через край! Поневоле вспомнишь, что и на старуху бывает проруха…

Расшифрованная стенограмма савинковского судебного процесса взяла полтораста страниц убористого типографского текста. Едва ли не каждый пункт обвинительного заключения обеспечивал Савинкову «вышку».

На Лубянке его не корежили, не ломали душегубными пытками – еще до ареста он извелся в пытках душевных, что уже само по себе размывает клеймо оголтелого авантюризма. Снисхождения судей Савинков не испрашивал. Нет, объяснял, как медленно, шаг за шагом приблизился к роковому вопросу: а что, если я ошибся и русские рабочие и крестьяне действительно за *них*, действительно с *ними*?

Он не мог, не хотел вчуже скоротать остаток лет. Не думаем, что чекисты выманили его из-за рубежа, хотя «технически» так было: Савинкова «вели» на коротком поводке, он нелегально перешел границу, его без хлопот, без единого выстрела взяли в Минске. И все же, сдается, он пошел на зов иного манка: России, но не военного коммунизма, а нэповской.

И вот он в судебном зале.

– После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие и многие другие, я вам говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому, что стоят с винтовкой за спиной: я признаю безоговорочно Советскую власть, и никакой другой.

А в последнем слове добавил:

– Для этого нужно было мне, Борису Савинкову, пережить неизмеримо больше того, на что вы можете меня осудить.

Осудили на расстрел с конфискацией имущества. За отсутствием имущества – конфискации подлежала жизнь, в сущности, уже прожитая.

Это было 29 августа 1924 года, в час с четвертью пополудни. Пять часов спустя ему вручили постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. Высшая мера наказания заменялась десятью годами лишения свободы.

Сонмы приговоренных получали нечто другое – девять граммов свинца. Получали, ни на унцию не совершив совершенное Савинковым. В чем тут дело? Где зарыта собака?

Смеем полагать, все решено было загодя. Иначе о смягчении наказания не стал бы ходатайствовать председатель суда В. В. Ульрих, столь же неумолимый, сколь и послушный.

Савинков обладал весом и престижем в эмиграции; даже в том узком сановном кругу, который брезгливо называл его «убийцей» за деяния дореволюционные, не отказываясь,

впрочем, от сотрудничества с ним в деяниях послереволюционных.

Гласная капитуляция Савинкова перед Советами, продолженная в письмах из внутренней тюрьмы, могла в известной степени воздействовать на эмиграцию. Какова бы ни была эта степень, игра стоила свеч.

Нисколько не витийствуя, он убеждал и призывал бывших друзей прекратить борьбу с русским народом и российской компартией, возрождающих страну на путях новой экономической политики. Он, в частности, писал: «Не знаю, читали ли вы отчеты о заседаниях съездов ВЦИК и проч. Но я, читая их, был изумлен тем мужеством, с которым в них говорилось о недостатках советской власти». И далее: «Но допустим, что комунисты „врут“. Я утверждаю, что если это даже на 3/4 так, то и тогда не подлежит никакому сомнению, во-первых, что советская власть делает все возможное для восстановления экономического положения России и, во-вторых, что ей это в значительной мере удается». И еще: «Запомните, коммунисты завоевали „середняка“, т. е. огромное большинство крестьянского населения, – того „середняка“, который испытал на себе прелести „белого“ рая и „зеленой“ борьбы и который спокойный пашет теперь свою землю».

Когда Савинков напечатал «Коня бледного», Егор Созонов был поражен выстраданностью каждого слова. Однако другие каторжане-читатели называли автора «отступником», «иудой». Теперь, когда письма Савинкова благополуч-

но достигали зарубежных адресатов, одни говорили, что он попал в переплет и выкручивается, другие выжигали на его челе тавро второго Азефа, третьи, немногие, находили эти письма искренними.

Как бы ни было, один из тех, кто ни на понюх табаку не внял его голосу, признавал на страницах английской «Морнинг пост»: Савинков «сознательно и безоговорочно перешел на сторону своих бывших врагов», помог им «нанести тягчайший удар антибольшевистскому движению и добиться крупного политического успеха, который они сумеют использовать как во вне, так и внутри страны». Мавр сделал свое дело. И теперь…

Он не «выкручивался», он верил в Россию нэповскую. Может, однако, показаться странным, если не чудовищным, одно обстоятельство: Савинков ни словом единым не порицал «террорную работу».

А ведь именно в этот – 1925 – год могикане революционного движения, не принадлежащие к правящей партии, доживая век на пенсионном покое, обратились в президиум ЦИК СССР с пространным заявлением. Кричащий документ, давно обнаруженный нами в архиве, дождался своего часа и должен быть опубликован полностью. Здесь же ограничимся выдержкой:

«Если расстрелы без суда, всегда несправедливые и страшные, возможны в исключительные моменты государ-

ственной жизни, когда открытая война, внешняя или внутренняя, уничтожает границы между нормальным государственным строем и полем битвы, то разве такое время мы теперь переживаем?» И далее: «Дело в том, что смертная казнь и административная форма ее применения вошли в нравы управляющих. Дело в том, что этот упрощенный и легкий способ управления сделался своего рода нормой, пропитал сверху донизу наш новый *бюрократический аппарат* и обесценил человеческую жизнь как в представлении управляющих, так и в сознании управляемых».

Ни звука об этом не проронил Савинков. Странно, чудовищно? Разумеется, если не брать на заметку то, что Савинков по сути своей как был, так и оставался террористом. В упомянутых письмах он говорил, что встретил на Лубянке «не палачей и уголовных преступников», а «убежденных и честных революционеров, тех, к которым я привык с моих юных лет». И еще: «Они напоминают мне мою молодость – такого типа были мои товарищи по Боевой Организации».

Савинков забыл, что в дорожном мешке истории немало зловещих сарказмов.

Сын Савинкова, Виктор, носил фамилию матери. Его мать, жена Савинкова, была дочерью писателя Глеба Успенского, великого мученика совести.

Виктор Успенский приезжал из Ленинграда на свидания с отцом. Савинков однажды сказал: услышишь, что я наложил на себя руки, – не верь.

В мае 1925 года он ходатайствовал об освобождении вчистую. Савинкову дали понять, что надежда слабенькая. Мавр, сделавший свое дело, вероятно, осознал, сколь жестоко он обманут. Нам неизвестно, получил ли Савинков ответ на свое ходатайство. Известно другое: в мае 1925 года газеты сообщили о его самоубийстве.

Варлам Шаламов, многолетний колымский каторжанин, поэт и прозаик, известный ныне всему читающему миру, рассказывал: Савинкова сбросили в пролет тюремной лестницы. Так, умирая, исповедуясь, шепнул Шаламову лагерный доходяга, бывший латышский стрелок.

И это савинковское «не верь», и этот рассказ В. Т'.Шаламова передаем со слов здравствующей внучки Германа Лопатина, выдающегося демократа отдельно взятой страны, не имеющей демократических традиций.

А Виктор Успенский, добрый знакомый Е. Б. Лопатиной, погиб в кровавом потоке. В том потоке, что захлестнул многострадальный город после «террорной работы» в Смольном.

Зловещие сарказмы истории не выдумка историков.

Юрий Давыдов

Памяти М. А. П.

Часть первая

I

За границей Андрей Болотов испытывал ту же тревогу, какую испытывает ревнивый хозяин, доверив в чужие руки хозяйство. Огромная, разбросанная по всей России, партия, со своими динамитными мастерскими, тайными типографиями, боевыми дружинами, областными и губернскими комитетами, крестьянскими братствами, рабочими группами, студенческими кружками, офицерскими и солдатскими союзами, со своими удачами, поражениями, стачками, демонстрациями, интригами и арестами, казалась ему большим и сложным хозяйством, требующим всегда прилежного глаза. Он не понимал, что и товарищам его, – старику Арсению Ивановичу, доктору Бергу, Вере Андреевне, Аркадию Розенштерну и многим другим, – партия тоже представляется цветущим хозяйством, но не его, Болотова, хозяйством, а любого из них. Но если б он это и понял, он бы не мог измениться. Он бы не мог перестать чувствовать то, что единственно давало силу работать и жить «нелегально», то есть работать и жить без семьи, без угла и без имени, и безбоязненно ожидать тюрьмы или смерти. Только затаенная уверенность, что партия – мать революции и что он, Андрей

Болотов, самый верный, самый послушный, самый самоотверженный ее член, – уверенность, что без него, без хозяина, партия распадется и хозяйство его обнищает, давала ему эту силу. Поэтому он не только не отдыхал, но испытывал ту тревогу, какую испытывает каждый хозяин.

Когда Болотов закончил дела за границей и настало время возвращаться в Россию, тревога эта достигла крайнего напряжения. Он уверенно знал, что товарищи продолжают раздавать запрещенные книги, печатать воззвания, устраивать забастовки и изготавливать бомбы. Он знал, что те люди, которые по самым разнообразным причинам собрались вместе и создали живое и многосложное целое, партию, продолжают, как муравьи в муравейнике, делать свою незаметную и необходимую им работу. И все же ему с жестокой отчетливостью казалось, что на этот раз, вернувшись домой, он найдет жалкие развалины того, что оставил: разрушенный и смятый дерзким врагом муравейник.

Уже давно прошло трудное время, когда он чувствовал страх. Как моряк привыкает к морю и не думает, что утонет; как солдат привыкает к войне и не думает, что будет убит; как врач привыкает к тифу или чахотке и не думает о заразе, – так и Болотов привык к своей безыменной жизни и не думал, что его могут повесить. Но где-то в глубине усыпленной души жило темное и многотревожное чувство, – то самое, которое не покидает ни моряка, ни врача, ни солдата. Повинуясь ему, Болотов безотчетно, по кучной привычке,

следовал «конспирации». Он не прятался от родных и знакомых, а просто не мог бы понять, как можно без нужды, для развлечения видеться со знакомыми и родными. Он не умалчивал о партийных делах, а просто не мог бы понять, зачем говорить о них с посторонними. Он не чуждался каждого нового человека, а просто не мог бы понять, как можно верить первому встречному. Он не видел, что все его отношения с людьми, начиная с дворников и швейцаров и кончая матерью и отцом, построены на боязни, на усердном желании скрыть те подробности жизни, которые единственно занимали его. Но если б он это увидел, он бы не мог жить иначе. Он сказал бы себе, что эта ложь праведна, ибо только строгою тайною охраняется партия, то есть необходимое для революции, его хозяйство.

Еще у всех были в памяти убийство Плеве, кровавое воскресенье, взрыв 4-го февраля, и Ляоян, и Порт-Артур, и Мукден. Все старые и молодые, чиновники и рабочие, военные и студенты, сторонники правительства и социалисты одинаково чувствовали, что происходит что-то новое, небывалое и потому страшное: колеблется ветхий, привычный, веками освященный порядок. Но хотя все это чувствовали, все продолжали жить как всегда: своими ничтожными житейскими интересами. Так же, как все, жил и Болотов. Он читал в революционных листках и сам писал в партийных газетах, что «народ пробудился», что «уже гордо поднято красное знамя» и что «недалеко то время, когда падут оковы са-

модержавия». Но он читал и писал это не потому, что понял величавый смысл совершавшихся в то время событий, а по многолетней привычке говорить и писать именно эти слова. Зоркий хозяин, он давно заметил рост своей партии и, заметив его, уверовал в неотвратимую и победоносную революцию. Победы правительства он предвидеть не мог; он думал, что восстанут крестьяне, сто миллионов русских крестьян. И, думая так, он был занят своим ежедневным хозяйским делом, и пока он был занят именно им, он действительно был полезен той революции, в которую верил.

В Берлине, накануне отъезда в Россию, он сбрил бороду, выбрал английское, темное, не бросающееся в глаза пальто, снял улику – широкополую шляпу – и надел котелок. Не отдавая себе отчета, он сделал это тщательно и обдуманно. Ему нужно было слиться с толпой; слиться с толпой и быть таким, как и все, – значило избежать досадного «наблюдения».

Уже сидя в вагоне, он купил не любимый социалистический «VorwDrts», а бульварную, чужую ему газету. По привычке закрывшись ею, он просмотрел телеграммы. На первой странице было крупными буквами напечатано: «Гибель русской эскадры».

Когда Стессель сдал Порт-Артур и потом, после рокового Мукдена, – Болотов не испытал ничего, кроме радости. Всякую войну он считал преступлением, во всякой войне видел бойню, всегда вредную и жестокую. Но если бы кто-нибудь спросил, что он думает о японской войне, он бы без коле-

бания ответил, что японская «авантюра» хотя и жестока, но полезна. Он бы не мог ответить иначе. Он думал, что поражение России – поражение самодержавия, победа японцев – победа революции, то есть победа партии; то есть его, Болотова, победа. Противоречия этих двух мнений он не видел, как не видел никто, кто слушал на митингах его речи.

Но теперь, прочитав телеграмму, он не испытал радости – знакомого и немного стыдного чувства своей победы: в эскадре Рожественского служил его брат, лейтенант флота, Александр Болотов.

«Как только дым пронесло, – телеграфировал немецкий корреспондент, – бой возобновился с удвоенной силой. Все японские корабли сосредоточили огонь на броненосце „Ослябя“, и скоро „Ослябя“, весь в пламени, вышел из строя. Пожары начались и на „Суворове“, и на следовавшем за ним „Александре“. Потом загорелось „Бородино“ и другие суда. Все японские силы были в полном составе, и так продолжался бой до 2 ч. 20 м. пополудни. В 2 ч. 50 м. „Ослябя“ пошел ко дну».

Болотов закрыл глаза. Он попытался вообразить, как идет ко дну броненосец. Однажды, в океане, у французского берега, он заметил затонувшую шхуну: вершины двух сиротливых мачт. И теперь, воображая «Ослябю», он невольно видел перед собою этот неизвестный корабль. Он знал, что на затопленном броненосце погибло в море несколько сот молодых и здоровых людей. Как социалист и революционер,

он должен был возмутиться, – возмутиться тем, что он называл преступною бойней. Но не было возмущения: он не мог представить себе ни разгрома эскадры, ни разбитых, горящих судов, ни гибели «Осляби», ни простой и страшной матросской смерти. Газетная телеграмма оставалась сухим клочком печатной бумаги.

«Когда вышли из строя „Суворов“ и „Александр“, – читал Болотов дальше, – корабли повел броненосец „Бородино“, оставшийся головным. „Суворов“, охваченный пламенем, все еще продолжал бой, но вскоре, под японским огнем, потерял переднюю мачту и обе трубы. Находившийся на „Суворове“ главнокомандующий адмирал Рожественский еще в начале боя был ранен осколком и передан на дестройер „Буйный“. Командование перешло к адмиралу Небогатову. В 7 ч. вечера начался сильный пожар на „Бородине“, и он, весь в пламени и дыму, пошел ко дну».

Болотову вспомнился его брат, невысокий, широкоплечий молодой офицер во флотском мундире. О брате он думал редко. Он знал, что брат на войне, на Дальнем Востоке, и не сочувствует революции. Этого было довольно. Было некогда думать о том, что непосредственно не касалось возлюбленной партии. Но теперь стало жутко: «Не убит ли… Кто?… Брат?… Саша?… Не убит ли Саша там, в Цусимском бою?…»

И отчетливо, во всех подробностях, ясно, как иногда бывает во сне, встала перед его глазами картина боя. Вот тяже-

лый, черный, израненный броненосец. Расстреляны трубы. Разбиты пушки. Раздроблены мачты. Но еще вьется Андреевский флаг… А вот бледный, в изорванном мундире, весь в крови Саша. Даже видно, где он лежит: на горбатой и мокрой железной палубе, навзничь, у правой кормовой башни. Даже показалось, что качнуло корабль и через полузатопленную корму с плеском бьют волны. Даже был слышен этот гремучий плеск.

«Адмирал Небогатов, – уже не понимая слов, читал Болотов, – поднял сигнал о сдаче, и четыре русских броненосца: „Николай I“, „Орел“, „Апраксин“ и „Сенявин“, 16 мая в 10 ч. 30 м. утра сдались японской эскадре».

«…Саша убит… Неужели Саша убит?…» И снова четко вспомнился брат, каким он видел его в последний раз в Петербурге на Невском в осенний холодный и солнечный день. Спокойные, молочно-голубые глаза и насмешливая улыбка: «Прощай, Андрюша, нам с тобою не по дороге…» Вспомнился и свой жестокий ответ. И захотелось вернуть этот солнечный день, свои озлобленные слова, и обнять, и забыть, – как казалось теперь, – напрасную рознь.

Поезд, свистя, загремел буферами. Блеснули мутные фонари. Мелькнули серые шинели жандармов.

В вечернем воздухе странно прозвучали русские голоса. Граница. Александрове.

Болотов бросил газету. Стараясь не думать ни о Цусимском бое, ни о Небогатове, ни о брате, ни об «Ослябе», он по-

шел к дверям таможенной залы. Высокий, бритый, худой, с сигарой в зубах, он напоминал англичанина. И действительно, у него в кармане был английский паспорт: Генри Мак-Мюк. В тесной, полной жандармов, зале было жарко и скучно ждать. И его доброе и твердое, с такими же, как у брата, голубыми глазами, лицо, не выражало ничего, кроме брезгливой скуки.

Утром, уже из Варшавы, он дал телеграмму в Берлин:

«Alles bezahlt», что значило: «проехал благополучно».

II

Приехав с утренним поездом в Петербург, Болотов в тот же день под вечер, когда стемнело, позвонил в пятом этаже громадного дома на Лиговке. Еще из прихожей, снимая пальто, он услышал сухой и резкий, надтреснутый бас Арсения Ивановича. Отвечал ему чей-то другой, взволнованный голос.

– Да нет, что же тут страшного? – внушительно говорил Арсений Иванович. – Страшного, кормилец, я не вижу тут ничего: вода не на их, а на нашу мельницу. Третьего дня – Порт-Артур, вчера – Мукден, сегодня – Цусима. Кто в барышах? Японцы? Не одни только японцы… Я – человек старый, а я вам скажу: к осени армия будет наша. Вы думаете, у нас там нету людей? Есть, кормилец, найдутся. Наши люди всюду пройдут… где прыжком, где бочком, где ползком, а где и на карачках… – прибавил он весело и засмеялся.

Болотов уже много лет знал Арсения Ивановича. Арсений Иванович, бодрый, белый как лунь старик, был один из основателей партии. Он гордился тем, что отец его был крестьянин и что сам он в юности пахал землю. Но от этого былого крестьянства остались только мудреные поговорки, слово «кормилец», густая, лопатою борода да незыблемый авторитет человека, не из книг, а из жизни знающего деревню. «Мое слово – олово», – часто говаривал он, и его слову ве-

рили и ценили его.

– Что значит?… Я не о том, – горячился молодой, незнакомый голос. – В этом я с вами согласен… Я спрашиваю: как можно служить? Разве социалист может служить в войсках?… странно… Когда это прин-ци-пи-ально недопустимо…

И вдруг тут, в полутемной, чужой прихожей, между грязными шляпами и пальто, перед Болотовым снова в мельчайших подробностях ясно встала картина бесславного боя. Вот тяжелый, черный, четырехтрубный корабль. У правой кормовой башни, навзничь, в крови, лежит Саша, и через полузатопленную корму лениво плещут шумящие волны.

Арсений Иванович говорил прописи, партийные истины, именно то, что на его месте сказал бы сам Болотов. Но на этот раз эти затверженные слова показались неправдивыми и ненужными. «…Саша… Где Саша?…»

Но дважды ангел вострубит,
На землю гром небесный грянет,
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет…

«Брат от брата побежит…» – вспомнил Болотов забытые стихи Пушкина. «Вот и Саша ушел… А Арсений Иванович смеется… Да что это я? Разве Арсений Иванович не прав? Разве армия скоро не будет наша? Разве Цусима не откроет солдатам глаза?… Что это со мною?…» – опомнился он и

сильно толкнул скрипучую дверь.

В свинцовых волнах табачного дыма тонули Арсений Иванович, доктор Берг и неизвестный Болотову молодой человек, товарищ Давид. Вера Андреевна, высокая, еще не старая женщина с изнуренным, желтым лицом, по-тюремному торопливо шагала по комнате. Два раза в неделю собирались они для своего ежедневного партийного дела, и это ежедневное дело казалось им тяжким бременем управления партией. Как каменщик, роя фундамент, разгружая кирпич и поднимая ведра с цементом, исполняет скромную и полезную работу строителя, так и они, долготерпеливо и скромно, камень за камнем, строили партию. Но как каменщик не властен разрушить дом или недостроить его, а властен в этом только нанявший его хозяин, так и они были не властны над революцией, и попытки их руководить ею были всегда и неизменно бессильны.

Когда Болотов окончил доклад о своей заграничной поездке, доктор Берг сухо изложил важнейшую цель заседания. Товарищ Давид, «военный организатор», член партии, «работающий» исключительно в войсках, приехал в Петербург сообщить, что в городе N волнуется пехотный полк, что в полку этом готово вспыхнуть восстание. Члены местного комитета, и в том числе он, Давид, не решились что-либо предпринять, не испросив дозволения старших товарищей.

И сейчас же, в накуренной, душной комнате, они перешли к делу, то есть заговорили о том, следует или нет начинать

восстание. Они говорили в уверенности, что от их разговоров зависит судьба двух тысяч солдат. Они забывали, что если люди решаются на убийство, на бунт и на смерть, то, конечно, не потому, что пятеро неизвестных считают это хорошим, полезным и нужным и что решение этих людей зависит от неисчислимого множества непредвидимых и случайных причин. Главное же, они забыли, что никто над чужою жизнью не властен и что люди в минуту смертельной опасности руководствуются не запретами и приказами, и даже не чувством долга, а своими тайными, им одним понятными, интересами. И седому Арсению Ивановичу, и доктору Бергу, и измученной Вере Андреевне, и самому Болотову казалось естественным и законным, что товарищ Давид, близкий десятку солдат, приезжает от имени всего полка спросить у них, неизвестных, когда именно нужно всему полку начать убивать и умирать. И Давиду это тоже казалось естественным и законным.

Давид, болезненный, тщедушный, с белокурой бородкой, еврей, стоя посреди комнаты, говорил, заикаясь и в волнении размахивая руками:

– В полку сорок процентов сознательных унтер-офицеров. В каждой роте кружок. Вся учебная команда наша… Ну… В полку недовольство… Восстание вполне возможно, а главное, понимаете, главное, солдаты этого требуют… Пропаганда поставлена с осени… Арестов не было… Полковой командир зверь… Когда я уезжал, товарищи, представители

рот, решили единогласно… И если вы не позволите, восстание все равно будет… – почти закричал он, не видя, что этими словами уничтожает всякий смысл разговора.

Доктор Берг, потирая белые тонкие руки, поверх очков посмотрел на него и небрежно спросил:

– Позвольте узнать, товарищ, сколько в городе гарнизона?

– Что значит гарнизон? – смутился Давид. – Когда я вам говорю…

– В партийных делах точность необходима, – заметил холодно доктор Берг, – не откажите сообщить, сколько в городе гарнизона?

– Ну, хорошо… Ну, стоят еще казаки и батарея… Но что такое казаки?…

– Присоединится батарея к восстанию?

– Странно… Вы спрашиваете… Разве я знаю?…

– А казаки?

– Казаки? Нет… Вероятно, нет…

– Вероятно или наверное?

– Ах, Боже мой… Ну, хорошо… Ну, наверное…

– Больше ничего. Благодарю вас, товарищ, – сказал с усмешкой доктор Берг.

Закрыв глаза, он откинулся на спинку замасленного дивана, точно хотел показать, что он, деловой человек, уже решил вопрос о восстании и что все остальное не важно и ему, доктору Бергу, неинтересно.

– Ах, да разве дело в казаках? – краснея багровыми пятна-

ми, окончательно смутился Давид. – Я же вам говорю, полк непременно восстанет…

При последних словах Вера Андреевна перестала ходить и остановилась прямо против Давида.

– Но если полк непременно восстанет, – с раздражением сказала она, – зачем же вы приезжали? Если полк не подчиняется комитету, то о чем говорить? Вы уверяете, что комитет работал… В чем же его работа? Я не вижу.

– Не в том дело… Ах, Боже мой!.. – плачущим голосом воскликнул Давид. – Я же вам говорю: что мне делать?… Если солдаты восстанут… Ну?…

– Мое мнение такое, – примирительно начал Арсений Иванович, – если, конечно, ребята хотят восстать, удержать их трудно, но, однако, не невозможно. В городе стоят казаки и батарея. Если они не присоединятся, восстание будет опять неудачно. Нужно избегать неудачных восстаний… Нужно, – меняя внезапно тон, мягко и ласково продолжал Арсений Иванович, – нужно, кормилец, повременить, удержать пока нужно… Глубже пашешь, веселей пляшешь… Так-то, кормилец… Осенью – дело другое, а теперь не по делам, кормилец, не по делам…

– Что значит удержать?… Да как же я могу удержать?… Научите… Ах, Боже мой, Боже мой… Странное дело… Разве я могу удержать? Когда они говорят, что восстанут… Вот вы говорите: не по делам… А что я могу? Что комитет может? Мы работали. Для чего? Для восстания… Ну, они и хо-

тят восставать… Что же мне делать? Ну?… Боже мой. Боже мой…

Давид в отчаянии забегал по комнате. Вера Андреевна отошла в угол к окну и скрестила на груди руки: она не желала вмешиваться, как казалось ей, в безнадежное дело. Доктор Берг, прислонившись к спинке дивана, по-прежнему не открывал глаз.

Болотов смутно почувствовал тяжелую бесплодность этого разговора. Он почувствовал, что Давид, вернувшись домой, непременно пойдет в казарму и неизбежно погибнет. И ему стало ясно, что вопрос даже не в том, чтобы Давид не погиб, ибо и это было уже не в их власти, а единственно в том, чтобы он, погибая, знал, что смерть его светла и прекрасна и что партия благословила его.

И, еще сам не зная зачем, Болотов, с неожиданными слезами на добрых глазах, быстро встал со своего кресла и крепко поцеловал Давида.

– Поезжайте, голубчик, назад… Вы там нужнее, чем здесь. С Богом, голубчик…

Просиявший Давид ушел. Доктор Берг еще долго и деловито говорил о своем: что опять вовремя не доставлены прокламации, что на заводе Коровина стачка, что арестован студент Никандров, что вчера получено письмо от крестьянского братства и что завтра необходимо потолковать о передовой статье для газеты «Рассвет».

III

В грязном трактире «Волна», на Выборгской стороне, Болотова ожидал Ваня, черноволосый, скуластый юноша лет двадцати двух, с калмыцкими, узкими, как щели, глазами. Было угарно и душно. Пахло пивом. Хрипел подержанный граммофон.

– Вы хотели видеть меня? Ваня слегка привстал.

– Да… Я просил… Только я уж не знаю… С чего и начать, не знаю… Я, главное, работаю тут, на заводе…

– Вы слесарь?

– Да-с, слесарь… Работаю тут, на заводе… Только, безусловно, больше я не могу…

– Чего не могу? Ваня замялся.

– Так что возьмите меня в террор…

Болотов никогда не «работал» в боевых «предприятиях» и никогда никого не убил. Он видел в терроре жертву и не задумывался над тем, что террор, кроме того, еще и убийство. Он не спрашивал себя, можно и должно ли убивать. Этот вопрос был решен: партия давала ответ. Он нередко писал и всегда подчеркивал на собраниях, что «товарищи с душевной печалью прибегают к кровавым средствам». Но печали он не испытывал. Наоборот, когда взрывалась удачная бомба, он был счастлив: был убит еще один враг. Он не понимал, что чувствует человек, когда идет убивать, и про-

стодушно радовался тому, что в партии много людей, готовых умереть и убить. И оттого, что таких людей было действительно много, и оттого, что на партию он смотрел как на свое наследственное хозяйство, он постепенно привык, что в партии убивают, и мало-помалу перестал выделять террор из всякой другой «работы».

– Господи, как свеча перед Истинным, – говорил Ваня быстро, изредка вскидывая на Болотова черные застенчивые глаза, – я перед вами как на духу… Разве можно иначе? К такому делу надо в чистой рубашке… Может, я еще недостоин за революцию умереть… Вы судите, как знаете, а только я вам все расскажу. Нужно вам знать, я допрежь главнее в хулиганах состоял. Как отец мой был черносотенец, что я дома мог видеть? Брань, пьянство, безусловно, одни побои… Ну, стал пить, хулиганом сделался… Подлости во мне этой – море… И очиститься как, не знаю. Если откажете, как же мне быть? Потому что иначе я, безусловно что, не могу…

– Не можете? – улыбнулся Болотов.

– Не могу. Бросил я, знаете, пить, из хулиганов вышел… Книжки разные стал читать, про землю, например, или Михайловского сочинения… Жил это тихо… Случалось, в день целковых три зарабатывал… Да…

– А почему бросили пить?

– Как вам сказать?… Безобразие одно. Что я, балчужник, что ли?… Ну, и бросил, конечно. Вы только не сомневайтесь, я теперь, безусловно, не пью. Разве можно в партии, напри-

мер, пить? Уж лучше вовсе тогда этим делом не заниматься, а опять в хулиганы пойти… Я так полагаю, если ты за народ, за землю или за волю, так ты должен себя соблюдать, чтобы ни Боже мой, и всегда готов к смерти… Ну, так вот… Живу я этаким манером, даже женился. Проходит, знаете, время… Работал я тогда в Нижнем. На заводе у нас забастовка. Приехали казачишки. Туда-сюда, туда-сюда… Мы, знаете, камней накидали, заборы – в щепы, вот тебе и есть баррикада. Готово дело. А казачишки, безусловно, стрелять… Между прочим, жена подвернулась… Ну, значит… Ну… убили ее казаки… – закончил он глухо и замолчал.

Болотов знал наизусть эти чистосердечные исповеди рабочих, стыдливо-искренние рассказы студентов, юношей, девушек, стариков, – тех бесчисленных рядовых террора, которые умирали за революцию. Но теперь, слушая Ваню, видя его доверчивые глаза, он почувствовал беспокойство. «Вот он верит мне, – думал он, – верит, что и я в любую минуту готов сделать то, что так просто, без размышлений сделает он, – готов умереть. Веря мне, он убьет и умрет, конечно. А я?… почему я до сих пор жив?… Потому, – тотчас же мысленно отвечал он себе, – что я нужен всей революции, всей партии, и еще потому, что необходимо разделение труда…» Но, сказав себе так, то есть сказав себе те лишенные смысла слова, которые товарищи всегда повторяли, на которых особенно настаивал доктор Берг и с которыми он в глубине души желал согласиться, он на этот раз не поверил им. «Ведь и

Ваня мог бы так рассуждать… Ведь и Ваня уверен, что нужен всей партии… Чем я лучше его? А ведь он так не скажет… У него убили жену, и он тоже убьет, если уже не убил… А я?» Усилием воли отогнав эти мысли, он повернулся к Ване и, наливая пива, сказал:

– Так что дальше-то было?

– Так вот, значит, убили жену… Хорошо-с… Прошло малое время, я и говорю заводским ребятам:

«Слышь, ребята, я Гаврилова убить порешил…» А Гаврилов у нас надзиратель, пес цепной, а не человек… Мне ребята и говорят: «Брось, Ваня, что есть такое Гаврилов? Рук не стоит марать». – «Нет, говорю, и жук – мясо. Почему Гаврилову жить?…» Ну, однако, отговорили… Безусловно, я тут загрустил. Вот ноет что-то во мне, и ноет, и ноет, и ноет, совсем покоя решился, не ем и не сплю. Думал, знаете, – я ведь вам как на духу говорю, – думал, да и решил: тот – господин, кто может сделать один. Был у меня фельдшер знакомый, Яша. Пошел это я к Яше и говорю: «Яша, говорю, друг сердечный, дай ты мне, пожалуйста, сделай такое одолжение, яду». – «Зачем, говорит, тебе яд?» – «Как, говорю, зачем? Я крыс травить буду». – «Крыс? – говорит. – Та-ак-с…»

Усмехнулся он, ну, однако же, ничего, говорит: «Ладно». – «Только, говорю, дай такого яду, который покрепче, чтобы, безусловно, ошибки не вышло». – «Хорошо, говорит, будь покоен». Дал он мне яду. Поехал я тут домой, к себе, значит, в деревню. А на деревне стоят казаки. Тоже бунт был:

мужики бунтовали. Матери у меня нет. Отец спрашивает: «А где же, спрашивает, Авдотья, жена моя, значит?» – «Авдотья, говорю, так и так, приказала вам долго жить». Рассказал ему все, как было. О Рождестве напекли пирогов, невестки пекли: братья у меня тоже женаты, в Москве. Я говорю: «Иди, отец, позови, говорю, казаков. Пирогами я их угощу». Подивился отец. «Что ты рехнулся, что ли?» Я говорю: «Зови». Посмотрел он на меня, ничего не сказал. Приходят казаки, четверо их пришло. Помолились Богу, сели за стол. Вина выпили. Господи благослови, за пироги принялись. Я говорю отцу: «Лучше не ешь». Не стал отец есть. Я гляжу: что будет? Съели по пирогу… Ничего… Неужто, думаю, Яша надул? Не может этого быть… Уж и не знаю, право, как вам рассказать?… – остановился в смущении Ваня и покраснел.

– Почему?

– Грех большой вышел.

– Ничего. Рассказывайте, как было.

– Ну, ладно… – Ваня вздохнул. – Думаю, безусловно, ошибка. Одна, значит, комедия. Только гляжу: зашатался один, голову на стол опустил, будто пьяный напился… «Так, думаю, значит, верно…» Другой тоже, гляжу, помутнел весь, молчит. А я угощаю: «Кушайте, говорю, на здоровье… Мы вам рады всегда…» Что ж? Все четверо поколели…

Болотов с изумлением смотрел на Ваню. Трудно было поверить, что этот серый, с калмыцким лицом и доверчивыми глазами рабочий решился на такое страшное дело. Еще

труднее было поверить, что он один, без помощи и совета сумел задумать и выполнить такой лукавый и вероломный план. «Если бы все так мстили, у нас давно бы не было ни виселицы, ни казаков, ни розог… Разве я умею так мстить? … – спросил себя Болотов и сейчас же нашел ответ: – „Я не умею так мстить, потому что это злодейство. Это не революция и не террор, а я член партии и революционер…“ Но и эти слова не успокоили его.

– Ну, – взглянув исподлобья на Болотова, продолжал Ваня, – ну, ушел я, конечно… Розыск делали… Начальства разного понаехало… Однако меня не нашли…

Ваня умолк. Трактир был полон гостей. Не переставая, без отдыха, хрипел граммофон. Ругались пьяные голоса. Звенела посуда. Половые шмыгали между столами. Болотов, положив голову на руки, думал: «Что я скажу? Что могу я сказать? Где у меня право с ним говорить?… Ах! все вздор… Он ждет моего слова, и я обязан его сказать. А остальное – суета, малодушие… И не надо думать об этом…»

– Так могу я надеяться? – робко спрашивал Ваня. – Я ведь и сам понимаю, каких я делов наделал… Только сделайте милость, дайте мне послужить… Не могу я всех этих безобразий видеть… – со злобой ударил он кулаком по столу.

Болотов поднял голову. Он хотел сказать Ване, что товарищи ценят его преданность и решимость. Но вместо этих казенных слов он, забывая свою, как казалось ему, обязанность перед партией, побледнев и не глядя на Ваню, сказал:

– Я не занимаюсь террором.

– Чего-с? Резко повысив голос, Болотов повторил:

– Вам не со мной говорить: я не занимаюсь террором.

Не давая Ване опомниться, он встал и вышел на улицу. Он почувствовал, что, быть может, впервые осмелился сказать правду. Это новое, странное чувство было так сильно, что он даже остановился. «Зачем я сказал? – встревожился он. – Разве я не занимаюсь террором? Разве я не обязан был выслушать Ваню? Разве я не отвечаю за кровь? За кровь вот этих казаков, которых Ваня убил? За его, Вани, кровь? … Так разве не хуже теперь? Ведь он ничего не понял… Зачем я смутил его?…» На этот раз ответа он не нашел. Налево безмолвно и величаво катила свои глубокие воды Нева. На другой стороне, за Невой, чернел громадный, неосвещенный Зимний дворец. Накрапывал дождь.

IV

С того дня, как Болотов прочитал о Цусимском бое, им овладело непонятное беспокойство. Докучная «конспирация» по-прежнему не утомляла его: он давно отвык понимать и любить бестревожную, мирную, или, как он говорил, «буржуазную», жизнь. Но теперь иногда ночью он не мог уснуть до утра. Заветное, крепкое, давно и твердо решенное стало казаться неясным и нерешенным. Точно наезженный и широкий путь привел в бездорожную глушь.

Этою ночью опять не спалось. День был полон забот: арестовали студенческий комитет, и Болотову вместе с доктором Бергом пришлось восстанавливать утраченные знакомства, «связи». Поздним вечером он вернулся домой и, не зажигая огня, разделся и лег. Он настойчиво старался не думать о том, что занимало его в последние дни. «Что за вздор! – говорил он себе. – Разве не верно, что войну ведет не народ, а правительство? Верно, конечно… Значит, если японцы нас победили, то кого же они победили? Очевидно, правительство… Так». На улице неярко мигал желтоватый рожок, и скудные паутинки-лучи тянулись от окна к потолку и на потолке потухали. «Главный враг наш – правительство. Значит, если японцы победили правительство, то кто в барышах?… Нет, не хочу, не хочу думать об этом…» – прошептал он, пытаясь уснуть. Но по булыжникам мостовой грузно

прогромыхал ломовик. Опять забились бессвязные мысли: «Мы в барышах… Вот и Арсений Иванович говорит… Арсений Иванович… Вода на нашу мельницу… Так. Значит, радоваться?… Нет, не так?… Кто виноват в гибели этих людей? В гибели Саши?…

И брат от брата побежит;
И сын от матери отпрянет…

Радоваться?… Чему?… Да о чем это я? Всякий народ достоин своего правительства… Кто это сказал? В этих словах нет смысла… Значит, виноват народ?…»

Вспомнилось Болотово, отцовское имение в Орловской губернии, старая дворянская усадьба, где он родился и вырос; господский с красною крышей и александровскими колоннами дом. За узкой, поросшею лозняком, речкой деревня – Новые Выселки. Вот староста Карп, вот Тихон Хромой, корявый мужичонка в рваной рубахе, вот босоногий Ванька, пастух. Вспомнился знойный воскресный день. Садится солнце. Он, Болотов, на лавочке, у запруды, а на плотине алые, зелено-желтые, бирюзовые пятна – деревенские бабы… «Так вот кто виноват… Староста Карп виноват, виноват Ванька-пастух или ключница Маланья Петровна. Виноваты в чем? Что у нас такое правительство? Виноваты в войне?… Староста Карп виноват в войне с Японией, виноват в Цусимском разгроме. Смешно…» Но через минуту он ду-

мал: «А если бы староста Карп не захотел, ведь не было бы войны? Если бы Карпы не шли на войну, ведь не было бы Цусимы? Почему же они идут? Почему они – рабы Плеве и Стесселя?… Ну, а если староста Карп не захочет и революции? – мелькнула болезненно-злая мысль. – А если?… Вот вздор… Господи, какой вздор… Что давеча сказал Арсений Иванович? Пехотный полк и Давид… И Ваня… Ваня и староста Карп… Нет, не думать, не думать, не думать…» Болотов утомленно закрыл глаза.

Фонарь на улице мигнул и погас.

Восток побледнел. В тощих яблонях на дворе несмело защебетали птицы. Далеко, у Знаменской церкви, зазвонили к ранней обедне. Болотов встал. Все та же нищая комната, стол, покрытый бумажной скатертью, тускло-желтый на столе самовар и по стенам олеография из «Нивы». В первый раз он почувствовал скуку. Все то же, всегда все то же. Те же мысли, те же слова, тот же Арсений Иванович, тот же Берг, та же «работа», та же опасность, тот же постыдный враг – охранное отделение. А главное, все неясно. Теперь он уже знал, знал наверное, что где-то в его жизни кроется ложь. На столе, среди побуревших окурков, белели мелко исписанные листки: передовая статья для газеты «Рассвет». Он взял ее в руки и перечел: «Речь идет о политическом терроре, как об одном из средств борьбы, как об одном из элементов тактики организованной партии. Только такая террористическая система, методическая, согласованная с другими элемента-

ми тактики, сообразованная с целью и общими условиями борьбы, может быть предметом нашего обсуждения…»

Он читал эти строки, и они казались холодными, равнодушными и жалкими своим лицемерием. Стало стыдно. «Неужели это я написал? Методическая система террора… Террор эксцитативный… Террор дезорганизующий… террор самодовлеющий… Ученическое рассуждение. О чем? Да, о чем?… О крови. О Ване. О живом человеке Ване, который пойдет и убьет другого живого человека… А мы? А я?… Он убьет, а я сочиню ученую и глубокомысленную статью о революционном инициативном меньшинстве, я буду доказывать, что террор отчаяния, террор мщения, террор запальчивости не подлежит никакой оценке, я буду говорить еще другие неправдивые, праздные, вялые слова… А товарищи отпечатают эту статью… А староста Карп прочитает ее… Прочитает и, конечно, пойдет за нами…» Он усмехнулся. Вспомнился доктор Берг, лысый, высокий, прямой, в воротничках до ушей. Вспомнился его самодовольно-самоуверенный голос: «В партийных делах необходима точность, товарищ?…» Вспомнилось красное, взволнованное лицо Давида… «А ведь Давид погибнет, и Ваня погибнет… Их обоих повесят. Они умрут… А я напишу в партийной газете: „Товарищи честно и мужественно взошли на эшафот…“ Как же быть? Где же правда? Ведь не в том правда, что я радуюсь, когда тонут в Японском море десятки тысяч русских людей, когда тонет Саша… И не в том правда, что Ваня идет

на смерть, а я хвалю или порицаю его… И не в том, наконец, правда, что староста рвет на цигарки мои легкоязычно написанные статьи… Так в чем же?…»

Рассвело. За Охтой вспыхнуло веселое пламя, и пурпурно-огненные, золотые лучи брызнули в комнату. И стало еще мертвее, еще неприютнее, точно солнечный блеск обнажил дряхлеющие морщины старчески изжитого лица.

Чувствуя, что он осуждает свою, как казалось ему, беспорочную жизнь, Болотов в последний раз попытался отогнать неугомонные мысли. «Почему Арсений Иванович спокоен? Для него все просто и ясно. Революция – арифметическая задача. Ваня идет, умирает. Хорошо. Слава партии! Разделение труда… И Берг тоже спокоен.

А ведь они, как и я, отвечают за кровь. Или, может быть, нет? Может быть, Ваня один отвечает за все? Кто же прав? … «Я перед вами как на духу…» Ваня передо мною как на духу… А я перед ним? А мы перед ним? Для нас он либо «герой», либо «фанатик террора», либо – и это хуже всего – «поклонник бомбочки», «неразумный бомбист»… Так где же, наконец, правда?…»

V

Точно так же, как Болотову, Давиду было близко знакомо тревожное хозяйское чувство. Но не партия казалась ему хозяйством. О партии он знал очень мало: то шутливое и неважное, что пишут в партийных газетах. Он знал, что во всех концах великой России есть люди, дорогие товарищи, которые ненавидят то же, что ненавидит и он, и требуют того же, чего требует он. Он знал также, что во всех городах «работают» комитеты и что этими комитетами, их, как он думал, «государственными делами», ведают в Петербурге достойные, многоопытные и умные люди. Этим людям он верил на слово. Он не посмел бы спросить, кто они и кто им дал их неограниченные права. Было достаточно успокоительного сознания, что на свете есть кто-то: Болотов, Арсений Иванович, доктор Берг и что этот державный «кто-то» неусыпно блюдет партийные интересы и ущерба их не допустит. Так как он не знал партии, то она представлялась ему сильнее, значительнее и чище, чем на самом деле была. Сложным и цветущим хозяйством казался ему его город, уездный, маленький комитет. Его не смущало, что в городе почти не было революционеров. Он думал, что этот именно комитет – исключение, что в других, более счастливых городах тысячи самоотверженных партийных людей и что, случись на месте товарищей, – вольноопределяющегося Сережи, солдата

Авдеева и акушерки Рахиль, – Болотов или Арсений Иванович, хозяйство пошло бы иначе, еще удачливее и лучше. Он думал, что тогда не три десятка солдат, а весь озлобленный полк присоединился бы к партии и не несколько рабочих кружков, а все фабрики в полном составе слушали бы ученые лекции о Марксе. Но даже и такое хозяйство доставляло много забот. Дни безрадостно уходили на мелкую пропаганду, на печатание комитетских листков, на мышиную беготню по партийным делам. Погруженный в эти заботы, он не видел, что кругом была горемычная уездная жизнь, чужая и темная жизнь попов, купцов, чиновников и крестьян той невидимой и всемогущей толпы, от которой и зависит последнее, побеждающее усилие – исход революции. И он слепо верил в несокрушимую силу партии и точно так же, как Болотов, ждал с упованием «грозного дня», как он говорил «возмездия и гнева».

Вернувшись из Петербурга домой, Давид прямо с вокзала пошел к своему другу, вольноопределяющемуся Сереже.

Он миновал Московскую улицу и уединенную Соборную площадь. Потянулись длинные пустыри, пространные огороды, убогие, вросшие в землю дома. Слезилось тусклое небо. Хмурились, намокнув, березы. В городском саду распускалась сирень. День был вялый. Стоял июнь, но пахло осенью, сентябрем.

Давид не замечал ни дождя, ни уездных будней. «Какой Болотов славный, – думал он, стуча сапогами по мокрым

мосткам, – и Арсений Иванович славный, и все… А вот я, Давид Кон, я исполню веления Божий, я погибну за революцию, погибну за партию, за землю и волю… Как славно… Как хорошо… И, конечно, восстание будет удачно, иначе Болотов бы не разрешил…» Ему казалось теперь, что Болотов разрешил и что разрешение это – закон. И еще казалось, что один Болотов знает, что он умрет и что он один жалеет и ценит его. И хотя он напрасно старался представить себе свою казнь, свою виселицу, своего палача, свои предсмертные дни в тюрьме, и хотя смерть была для него только словом, лишенным значения, ему все-таки стало жалко себя. «Ну, что ж; двум смертям не бывать, а одной не миновать», – тряхнул он русыми, курчавыми волосами. «Прекрасны шатры твои, Иаков, и жилища твои, Израиль…»

– Что хорошего? – встретил его Сережа.

– Ура! Разрешили!

Сережа, высокий, загорелый солдат в расстегнутой белой, с малиновыми погонами рубахе, посмотрел на него с удивлением.

– Чему же ты рад?

– Как чему? – всплеснул руками Давид. – Странно… А если бы не разрешили? Что тогда? Ну?…

Сережа взял со стола папиросу, не спеша зажег спичку, закурил и, наконец, спокойно ответил:

– В лес дров не возят.

– Что значит?

– А значит то, что и без Петербурга решили.
– Без Петербурга?
– Ну да.
– Кто решил?… Как?…
– Солдаты решили…
– Что? Что?… Да говори, Бога ради…
– Ничего… Завтра…
– Завтра?
– Да, завтра.
– Не может этого быть…
Сережа пожал плечами.

И, как это всегда бывает, когда страшное, но еще далекое становится неотвратимым и близким, Давид почувствовал, что все, что он думал раньше о смерти, не имеет цены, как не имеют цены досужие и безответственные слова. Он почувствовал незнакомую и неодолимую тяжесть, точно кто-то пригнул его плечи низко к земле. «Завтра… – опомнился он. – Не через месяц, не через неделю, а завтра… Господи, дай мне силы… Господи, завтра…»

– А комитет? – промолвил он глухо.
– Что комитет?
– Комитет решил?
– Конечно, решил.
– Странно…
– Что странно?
– Да как же так, без меня?

– Без тебя? Прапорщик Воронков вчера на карауле ударил Авдеева.

– Ну?

– Авдеев дал ему сдачи.

– Ну?…

– Ничего… Расстреляют Авдеева.

Давид бессильно опустился на стул. Звонко пел потухающий самовар.

За окном, сквозь мутную сетку дождя, зеленели уныло-дряблые огороды.

– А ты? – спросил, наконец, Давид. – Что я?

– А ты за восстание… Что ж ты молчишь… Ну, чего ты молчишь?

– Все это зря, – сказал Сережа тихо, – зря люди погибнут… Но наше дело не рассуждать…

– Наше дело не рассуждать, – повторил, как эхо, Давид.

– А идти, – докончил Сережа.

– А идти, – повторил Давид.

– Да, идти. Я и ты наденем офицерскую форму. Утром, рано, до поверки, пойдем в четвертую роту. Меня там знают. Попробуем поднять полк. Солдаты, если не врут, поддержат.

– Та-ак… – нерешительно протянул Давид.

– Понял?

– Да, понял… Та-ак… Послушай…

– Что?

– Послушай, ведь я – еврей…

– Ну?

– Хорошо ли мне офицером?

– Как хочешь.

Оба примолкли. Все так же звонко пел самовар. И вдруг Давид неожиданно почувствовал пьяную радость. Точно совершилось желанное, то, что снится только во сне. «Да, да, я умру… Умру за партию… Да…» – думал он. Его серые, встревоженные глаза потемнели… Он вскочил и в волнении забегал по комнате. Остановившись перед Сережей и, по обыкновению, заикаясь и махая руками, он заговорил пылко, в каком-то самозабвении:

– Велик Бог отцов наших… Помнишь у Некрасова, Сережа:

Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути…
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую,
Каким идти.

Вот мы и идем, и дойдем, и умрем… И дух наш не будет уныл, и сердце наше не онемеет… Не так? Не так ли, Сережа?… В прошлом году я был на погроме… Была у нас оборона, человек двадцать. В первый день вечером наш отряд – я в первом отряде был – на хулиганов наткнулся. Темно. Слышим: погром. Чей-то дом грабят. Кто-то кричит, де-

ти плачут… Саша Гольденберг был. Командует: пли!.. В ответ пули свистят. Саша опять: пли!.. Разбежались громилы. На другой день, суббота была, я и Саша Гольденберг в штабе отыскали квартиру, один адвокат дал, заперлись в ней и ждем. Первый отряд пошел на базар, второй – за Заставу, а третий с нами остался. Ну… Ну, сидим мы у адвоката. Ждем. Две ночи не спали. Сон клонит. Скучно… Хочется кушать… К окну подойти нельзя: того и гляди казаки подстрелят. Оборона, кто где: на стульях, на полу, на кроватях, дремлют себе. Час так проходит. Ну, два… Ну, может быть, три… Нового ничего… Тишина… Стало смеркаться. Огня не зажгли, чтобы с улицы не было видно. С утра не ели, хочется спать… Хозяин войдет, посмотрит, вздохнет… Тоска… Вдруг, уже совсем вечер был, телефон. С Кирилловской улицы, купец, ребе Фишель. А Кирилловская, знаешь, совсем на отлете, и наших там ни души. Я телефону: «Что вам, реб Фишель?» По голосу слышу: трясется. «Давид, говорит, это вы?» Я говорю: «Я». – «Давид, милый Давид, громилы идут…» – «Далеко?» – «Уже на Кирилловскую завернули…» Я говорю: «Ша… Ничего… Ждите…» Обернулся я к обороне: «Вставать!» Кто и спал, тот сразу вскочил. Через минуту уже никого, только хозяин вздыхает. Телефон все звонит. «Что надо?» – «Давид, ради Бога, Давид… если вы хороший еврей…» Я говорю: «Оборона выслана. Обождите». – «Благословен Господь, буду ждать…» Через пять минут телефон: «Давид…» – «Что надо?» – «Давид, где обо-

рона?… Громилы за пять домов… Жгут… У меня дети…» Знал я его хорошо, Фишеля этого. Толстый, красный такой купец, деньги нам иногда давал. Знаю: стоит он там, бедный, трясется… Ну, что ты скажешь?… У него дети… Я говорю: «Детей и супругу запрячьте куда-нибудь, ну, на чердак или в погреб…» Повесил я трубку, думаю: а вдруг оборона да опоздает?… Что тогда? Выйти в поле и выть?… Через минуту звонок: «Боже, Боже… добрый, сердечный, милосердный Господь Израиля!..» – «Где дети?» – спрашиваю. А у него и голоса нет: «Дети в… в… в… погребе… де-ти…» – «Ждите, говорю, и надейтесь: оборона в пути». А сам думаю: да, в пути, а если встретят… Ну?… Что тогда?… Опять телефон: «Погром уже рядом, через два дома…» Что скажешь делать? Заметался я, совсем голову потерял… А телефон все звонит, звонит, звонит, звонит… Взял я трубку: «Ну, что?…» Слышу, лает он по-собачьи: «Авв… авв… авв-ва… Давид… Велик Господь!.. Давид… авв… Господи… Помогите!..»

– Ну?

– Ну, Бог его спас. Совсем было горе ему. Вот-вот подожгут. Еще вот маленькая, самая маленькая минутка – и быть ему на том свете… А тут как раз наши и подошли. Молодцы были, все на подбор… Ну, знаешь, вот эти четверть часа, пока телефон звонил, а наши там где-то шли, знаешь, я всю жизнь не забуду… Вот так и вижу этого Фишеля, стоит он у телефона, бледный, трясется, а в погребе дети… Жена и четверо малых ребят…

Давид сел за стол и залпом выпил стакан холодного чаю. И тотчас же опять вскочил. Он теперь был уверен, что умереть не страшно, а радостно и что умереть за партию – завидная и редкая честь. Он теперь был уверен, что он, избранный, родился единственно для того, чтобы бескорыстно и беспечально отдать свою жизнь. И, блестя серыми широко раскрытыми глазами, он выкрикивал в восторженном вдохновении:

– Я счастлив, я горд, что завтра конец!.. Я горд!.. Неужели ты не веришь в удачу?… Вот ты опять молчишь… Почему?… Ну, скажи, ты веришь в удачу?…

– Божья воля, Давид.

– Ах, ты вот так всегда… Что значит: Божья воля? Я Бога не знаю… Отцы наши знали, а я не знаю… По-моему:

Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую…

Не Бог землю устроит, а мы… Мы устроим ее, своею кровью устроим. Не Он, а мы себе помощь. Не Он, а мы себе щит. Не Он, а мы низложим врагов наших!..

Сережа улыбнулся. Улыбка у него была кроткая, как у девушки.

– Бога-то в тебе, пожалуй, больше, чем во мне, – сказал он спокойно.

– Странно… А почему?

– Ты вот Фишеля спас.

– Я Фишеля спас?

– А кто же?

– Не я. Оборона.

– Все равно… Ты Фишеля любишь.

– Я люблю Фишеля? Я?

– Конечно.

– Нет, Фишель не с нами: он враг…

– Ты и врага своего любишь.

– Что значит – любишь?… А по-твоему, пусть громят?

– Послушай, – так же спокойно сказал Сережа, – вот мы завтра с тобой пойдем в казарму. Ты говоришь, умрем. Случится, что же? Умрем… ведь не только умрем, ведь еще, быть может, убьем?

– Вот… вот… Странное дело… Ну, конечно, убьем… А ты был на погромах? Ты был? Ты видел? А я вот видел… Что Фишель?… Фишель ходит себе живой и снова углем торгует, и хлеб с маслом кушает, и деньги на оборону дает… А я вот старика одного видел. Лежит голый старик, ноги тонкие, синие, в волосах, кожа в морщинах, а в глазу гвоздь… Это как? Что ты скажешь на это? А?… Это Бог разрешил? Твой Бог? Его воля?… Или видел я женщину, молодую, косы разметаны, а живот у ней вскрыт… Убьем ли?… Конечно, убьем… Я с радостью их убью… Слышишь ли? С радостью…

– Кого «их»?

– Ах, не все ли равно? Офицеров, министров, жандармов, городовых…

– С радостью? Ты?

– Да, да, да… я, Давид Кон!.. Нужно мстить: око за око и зуб за зуб.

Сережа, не отвечая, распахнул настежь окно. В комнату заглянула теплая, влажная, предрассветная ночь. Дождь отшумел, и давно растаяли волнистые облака. Широко раскинувшись по небу, торжественно сияла Медведица, и, бледно и часто, многозвездно сверкал Млечный Путь.

VI

Полковые казармы были расположены за чертой города, на пыльной, плохо вымощенной дороге. В полку уже третий месяц бродили темные слухи о бунте. Люди открыто поговаривали о том, что «начальство ворует», что «все офицеры – собаки» и что их «нужно перестрелять». Тайно созревшее, неизлитое недовольство нарастало неудержимо. Причины его были слепы. Тяжелая государева служба была всегда ненавистна, но солдаты мирились с нею, как их деды мирились с палкою и кнутом. Теперь та же самая служба казалась непереносной. Как потревоженный улей, многоязычно жужжал пробужденный полк. По вечерам проворные «вольные» украдкой пробирались в казармы. Они говорили речи, малопонятные, но горячие, о «земле», о «социализме» и о «вооруженном восстании». И, пожалуй, можно было поверить, что при первом мятежном крике зазвенят в солдатских руках винтовки и переколют и перестреляют господ офицеров и что вместо полкового шитого золотом знамени взовьется красный флаг революции. Но никто не знал, когда это будет. Офицеры слышали о солдатской смуте и пугались ее. Пугались, когда подметная прокламация грозила им смертью или когда доброволец шпион в угоду начальству осторожно докладывал о соблазнительных толках. Тогда росло уважение к вездесущему и таинственному врагу, который называ-

ется партией, но росла и ненависть – бессильная злоба. Случилось, что офицер ударил в лицо рядового. Хотя это было обычно, на этот раз все согласно и громко заговорили о неизбежном восстании. Комитет решил, что настал срок, и назначил день.

Когда утром Давид и Сережа вышли из дому, летнее солнце стояло высоко. Умытые вчерашним дождем, болтливо шептались листья. Еще не высохли лужи. В них серебром сверкали утренние лучи. День обещал быть безоблачно-знойным.

В офицерском мундире Давиду было неловко. Особенно было неловко, что шашка постоянно задевала за сапоги и ее то и дело приходилось придерживать левой рукой. Кроме того, было жутко: точно редкие встречные, базарные мужики и бабы, угадали и знают, что он вовсе не офицер, а переодетый еврей. И еще было жутко: точно так же каждый городовой остановит и арестует его. Сережа шел быстро, уверенно и спокойно.

Так прошли они город, и пока они шли, Давиду казалось, что сонным улицам и заборам не будет конца. Но вот, вдалеке, на запыленной дороге, выросло мрачное кирпичное здание. У ворот стоял часовой. «Ну, теперь, наверное, остановят, – подумал Давид, – наверное, не пропустят…» И опять будто кто-то пригнул его к земле, будто на плечи сзади навалилась неодолимо грузная тяжесть. Но часовой, рослый солдат, с добрым и круглым мужицким лицом, стукнул винтов-

кой и вытянулся во фронт. На квадратном, мощеном дворе не было солнца. Кое-где, сквозь булыжник, пробивалась трава. Налево, в дальнем углу, сушилось на веревках белье. Из облупленных стен глядели мутными бельмами окна. Стоял говор и шум, стоголосый пчелиный гул. Какой-то нестроевой, без шапки, в заплатанных казенных штанах, пробежал через двор с ведром. Щеголеватый писарь на ходу отдал честь и хлопнул дверью с вывеской «Канцелярия». Сережа быстро, тем же уверенным шагом, направился к ротному помещению. «Неужели пропустят? – подумал Давид. – Ах, все равно… Только скорей бы… скорей…» Но и здесь не остановили их часовые.

Длинная узкая комната была густо полна людьми. В ружейных козлах, у стен, мирно дремали винтовки. Солнце изредка искрами перебегало по их гладким стволам. Крепко пахло махоркой и щами, – смрадом жилой и тесной казармы. Давид почувствовал страх: казалось невероятным, что можно выйти отсюда. Но уже было поздно. Приложив руку к фуражке и покачиваясь тучным, затянутым в мундир телом, к ним молодцевато подходил чернобородый фельдфебель с благообразным и строгим лицом. «Вот и конец», – похолодев, подумал Давид.

Увидев фельдфебеля, Сережа нахмурился и решительно вышел навстречу. Глядя ему прямо в глаза и не давая сказать ни слова, он отрывисто и резко спросил:

– Где у тебя револьвер?

«Господи, что он делает? – пронеслось у Давида. – Ну, теперь конец, теперь уже, наверное, конец… Не отдаст он револьвера… И чего это солдаты как истуканы?…» И хотя он был твердо уверен, что уже все и безвозвратно погибло и что только чудом можно спастись, он, невольно заражаясь Сережей, выпрямился и повторил:

– Где у тебя револьвер?

Фельдфебель, видимо, не понял вопроса. По привычке вытягиваясь во фронт, он с недоумением смотрел на незнакомых ему офицеров. В казарме все смолкло. Было тихо, как в поле.

– Я спрашиваю, где у тебя револьвер? – возвысил голос Сережа.

– Ваше…

– Молчать!

Сережа протянул руку и хладнокровно, не торопясь, начал отстегивать на груди у фельдфебеля длинный красный шнурок с кобурой. Шнурок запутался о погоны, и фельдфебель сам нагнул голову и послушно снял кобуру.

– А теперь выводи роту на двор…

– Ваше благородие…

– Молчать!.. – внезапно побагровев, закричал Сережа. Давид видел, в руке у него блеснул короткий черный револьвер.

Солдаты, не ожидая приказания, один за другим разбирали винтовки, надевали подсумки и, молча и торопливо, не глядя ни на кого, выходили на двор. Сережа, расставив креп-

кие ноги и засунув руки в карманы, стоял в сенях, у дверей, и, все так же хмурясь, пропускал их мимо себя. Когда рота построилась у стены, он поправил шашку и медленно вышел вперед. Солнце скользило теперь по камням и играло на стали штыков. Давиду казалось, что протекли долгие годы с той несчастной минуты, когда он вошел в казарменный двор. Захотелось вернуться. Захотелось бежать, бежать из этой ловушки, от этих каменных стен и оцепенелых винтовок, от того неизбежного страшного, что, – он знал, – сейчас должно совершиться. Но он знал также, что бежать невозможно.

– Смирно! – крикнул Сережа.

И, повинуясь этому крику, – точно командовал не Сережа, а жестокий и взыскательный офицер, – рота затихла. Вдоль кирпичной стены забелело два ровных, однообразных ряда рубах. Одинаково были примкнуты ружья, одинаково сдвинуты набок фуражки, одинаково подняты головы, и одинаково бледны напряженные лица солдат. На правом фланге, впереди роты, недалеко от Давида, часто моргая растерянными глазами, неподвижно застыл чернобородый фельдфебель.

– Товарищи!..

«Неужели дадут говорить, – удивился Давид, – неужели послушают?…» Казалось теперь, что он все видит во сне: и казарму, и солдат, и Сережу, и что стоит только проснуться – и он будет опять в своей уютной студенческой комнате, и все снова пойдет по-старому, по-хорошему, как оно шло до

сих пор.

– Товарищи!.. – еще громче сказал Сережа.

И вдруг, тотчас же, сзади раздался размеренно гулкий и твердый шаг. Давид обернулся: слева, со стороны канцелярии, мимо веревок с солдатским бельем, медленно подвигались люди. Люди эти шли прямо на них. В ту же минуту Сережа вынул револьвер. Рота, не шевелясь и не подымая винтовок, смотрела, окаменев, на него. Так же белели рубахи. Так же были сдвинуты набок фуражки. Так же вытягивался во фронт чернобородый фельдфебель. На солнце блестели золотые погоны приближающихся людей.

Сережа побагровел, как тогда, когда говорил в казарме. Еще не понимая причины, но уже безошибочно чувствуя, что восстание не удалось, он широким, решительным шагом, не оборачиваясь и не обращая внимания на роту, пошел прямо наперерез офицерам. Теперь они были близко, и каждого из них мог легко разглядеть Давид. С краю мелко семенил короткими ногами одутловатый, толстый поручик в очках. Было видно, как дрожит у него в руке большой, тяжелый казенный револьвер. Рядом с ним, подняв голову, выступал высокий, в поношенном кителе и нечищеных сапогах, офицер. Он держал револьвер дулом книзу, к земле. Остальные в глазах Давида сливались в живую, многолюдную стену. Он понял только, что их много, больше десятка. И когда он понял, что их так много и что бороться с ними нельзя, он опять почувствовал ту желанную радость, которая вспыхнула на-

кануне. «Пусть умру… За землю и волю!.. – думал он, догоняя Сережу и радуясь, сам не зная чему. – Вот оно… вот…» Но он не смел обернуться назад. Не смел посмотреть, что делает рота, что делает чернобородый фельдфебель. «Только бы не стреляли сзади… Только бы не сзади, чтобы честно… за революцию… Прекрасны жилища твои, Израиль…»

Сзади звякнуло что-то. Давид зажмурил глаза. Когда он их снова раскрыл, он увидел, что от рядов отделился и бегом примыкает к ним его товарищ и ученик, ефрейтор Григорий Габаев. Красный, с горящими, черными восторженными глазами, с винтовкой наперевес, он, тяжело дыша, пошел с ними рядом. Их окружала пустыня каменного двора. Было слышно, как толстый поручик что-то сказал. Но они трое, не замедляя шагов и не оглядываясь назад, быстро, в ногу шли к недоступным, еще далеким воротам. Идти было трудно: Давиду казалось, что надеты не сапоги, а стопудовые гири.

– Пли… – невнятно долетела команда.

Выстрелов Давид не услышал, но зазвенели и, жужжа, засвистали над его головою пули. Из толпы офицеров поднялось и растаяло прозрачное голубое облако. Давид понял, что стреляли в него.

Сережа остановился. Над самым ухом Давида грянул неожиданный выстрел. Габаев стрелял из винтовки. И сейчас же, не отдавая себе отчета, Давид поднял револьвер и поспешно взял на прицел. Курок был тугой и дрожал вместе с блестящим дулом. И когда, наконец, на секунду муш-

ка уперлась в чью-то круглую, в белом кителе, грудь, Давид опять зажмурил глаза и дернул. Дернув однажды, он уже не мог перестать. Он стрелял зря, не целясь, даже не понимая, что он стреляет, пока не щелкнул последним, пустым патроном затвор. Тогда сквозь полуопущенные ресницы он увидел желтый огонь. Пахло порохом. Толстый поручик сидел на земле, опираясь правой рукой о камни. Фуражка его слетела, и у ног медленно расползалась густая и липкая лужа. Давид не понял, что убил человека.

Сережа шел дальше, не оборачиваясь и не стреляя. В ногу с ним, опустив голову, так же быстро, как он, шел Габаев. Давид бегом бросился вслед за ними. У самых ворот часовой загородил им дорогу. Тот же рослый солдат, который недавно отдал им честь, теперь с хмурым и злобным, налитым кровью лицом угрожал им винтовкой. Стиснув зубы и побледнев, Габаев широко размахнулся, и не успел еще Давид сообразить, что он делает, как часовой зашатался, схватился рукой за трехцветную будку и ничком рухнул в мягкую пыль. Давид, уже не чувствуя ничего, не понимая, где он и что с ним, зная только, что случилось что-то непоправимо ужасное, заботился об одном: как бы не отстать от Сережи. Не было ни комитета, ни восстания, ни революции. Было рыхлое, взбороненное поле, в котором вязла нога и которое надо было перебежать. За полем, вдалеке, синел лес. В лесу, он верил, было спасение.

VII

Когда Миша Болотов, только что окончивший опостылевшие экзамены, краснощекий, восемнадцатилетний гимназист, проехал рано утром последнюю станцию перед Мятлевом, им овладело веселое нетерпение. Высунув коротко остриженную голову из вагона и жмурясь на солнце, он с любовью смотрел на приветливые, с детства родные места. За Можаровским лесом блеснул золоченый крест – Свято-Троицкий монастырь. За болотцами вырос и побежал широкий темно-зеленый большак, – дорога в Орел. Мелькнула деревня Чишмы. А вот, наконец, и захолустное, Богом забытое Мятлево. Вот кирпичный, крытый жестью вокзал, железная водокачка, вихрастый телеграфист и постоялый двор купца Блохина.

Застоявшаяся тройка побрякивала бубенчиками. Кучер Тихон, рыжий, бородатый мужик в бархатной безрукавке и в низкой шляпе с павлиньим пером, не спеша подтягивал расписанную цветами дугу. Завидев Мишу, он улыбнулся. Мише казалось, что улыбается не только Тихон, – улыбается и горячее солнце, и махровый, колосистый, проросший полынью овес, и бело-лиловые, тончайшего шелка березы. Кончился каменный город. Кончилась гимназическая страда.

– В корню Чалый ходит, а Звездочка где? – разочарованно сказал Миша, подходя к лошадям. Чалый, тяжеловесный,

крепкий на ноги коренник, гнул запотелую шею и позвякивал большим серебряным колокольчиком. Левая пристяжная гнедая Голубка, подняв точеную голову, похрапывая и раздувая розово-нежные ноздри, нюхала воздух. Миша обнял ее и прижался щекой к ее теплой с тонкими жилами морде. Целуя ее и вдыхая знакомый и острый запах лошадиного пота, он шептал ей ласковые слова:

– Здравствуй, милая… Здравствуй, Голубка… А где же Звездочка? – обернулся он к Тихону.

– Звездочка? – нараспев переспросил Тихон. – Звездочка захромала… Заместо ее Золотой теперь ходит. Только не конь, Михаил Николаич, а шельма…

Шельма Золотой, опустив вспененную морду, часто перебирал передними стройными, с короткими бабками, ногами. Миша с грустью посмотрел на него. Прошлым летом он выездил Золотого под верх, и ему было жалко, что он испорчен: ходит теперь в пристяжных. Он вздохнул и погладил жесткую и косматую золотистую гриву. Тихон угадал его мысль.

– Летошний жеребенок от Звездочки каким конем нонче стал… Вот бы под верх, Михаил Николаевич…

Проехали Выползово, Чемоданово, Сухолом. Всюду, сколько хватал зоркий глаз, колыхалась, волнуясь, зыбкая, желтая, еще неспелая рожь, – необозримое море русских, склоненных долу хлебов. Миша видел потную спину Тихона, широкий зад Чалого, пыльную ленту дороги и глубоко-голубое небо. Было знойно. Таяли белые облака. Пахло полем,

травою. Пофыркивал Чалый. Однозвучно звенела тройка.

Проехав Можаровский лес, свернули на Орловский большак. И сейчас же Чалый, потряхивая расчесанной гривой и высоко выбрасывая сильные ноги, прибавил рыси. Под дугою мерно и быстро закачались его большие, настороженные уши. Пристяжные изогнулись в дугу, и вдруг враз запели и зазвонили малиновым звоном бубенчики и колокольцы. Мелко и сильно, вскачь, забирала ногами Голубка, и широким раскидистым махом, не отставая, скакал Золотой. Замелькали полосатые версты, голые столбы телеграфа. «Так-так-так-так… – думал в такт Миша, глядя на раскачивающуюся шею коренника и замирая от нетерпеливого ожидания. – Милый, еще… Еще, милый». Но Тихон натянул вожжи, и Чалый, переменив ногу, сразу убавил ход. Уже виднелась Болотовская усадьба: красная крыша и зеленый сад.

Николай Степанович Болотов, старый отставной генерал, стоял на высоком, выбеленном крыльце и, заслоняясь морщинистою рукою от солнца, смотрел на липовую аллею. Когда тройка миновала ворота с потрескавшимися каменными львами и солнечные лучи, сквозь листву, пятнами затрепетали на спинах лошадей и плечах Тихона, Миша не выдержал, выпрыгнул из коляски и, перегоняя ее, бегом побежал к отцу. Но не успел он поздороваться с ним, как его сзади обняли чьи-то руки, и Наташа, сестра, звонко поцеловала его. Из сеней послышались легкие женские шаги, и Миша еще не увидел, но уже почувствовал, что вошла его мать.

После бесконечного праздничного обеда Миша вышел в сад. Разлука была долга. Надо было все заново осмотреть, поздороваться с каждым деревом, с каждым камнем, с каждой тенистой аллеей. На дворе и в саду все было по-старому. По-старому, перевертываясь через себя и виляя лохматым хвостом, подкатился шершавый шоколадно-лиловый Шарик и понюхал Мишины сапоги. Почуяв Мишу, легавая красно-пегая сука Веста взвизгнула и лизнула его, как всегда, прямо в губы. Те же горничные: Лукерья и Даша, потупив глаза, поклонились ему. Та же ключница, Маланья Петровна, в том же синем платке, прошла на погреб за смородиновою водой. И так же буйно зарастали дорожки репейником, дикой коноплей и крапивой. И так же пышно распускалась сирень. И так же вкусен был зеленый крыжовник. И так же мирно в конюшне кони жевали овес.

Двор через околицу выходил в лес. В лесу было тихо и сильно, до духоты, пахло валежником и смолою. У заросшего мелкой осокой тинистого ручья Миша присел. Наташа, приминая руками гибкие стебли папоротника, придвинулась к брату и, заглянув в его счастливое лицо, робко сказала:

– Мы думали, что Саша убит… От него не было писем. Папа все плакал…

– А мама? – с живостью повернулся Миша.

– Мама, ты знаешь, молчит.

– А теперь?

– Теперь получили письмо. Пишет, что в плену…

Слава Богу… – Наташа перекрестилась. – И зачем это люди воюют?…

Миша знал о Цусимском бое. Но он ни разу не вспомнил о брате, о том, что брата могли убить. Он не огорчился и не обрадовался словам Наташи. В плену так в плену. Незаметно и постепенно, от товарищей, из брошюр, из газет, из намеков, из значительных умолчаний, он в свои восемнадцать лет уже капля по капле впитал то всеобщее равнодушие к русским несчастьям, которое считалось тогда заслуженным и уместным. «Так им и надо…» – думал он, хотя не мог бы сказать, кто такие «они» и почему надо, чтобы «они» тонули, погибали или сдавались в японский плен. Не отвечая Наташе, он спросил:

– А почему мама в черном?

– Мама теперь всегда в черном… Ты знаешь что-нибудь об Андрюше?

– Нет. Ничего.

– Почему он не пишет?

– Не знаю.

Наташа задумалась. Слабо и сухо, нехотя долбил дятел в чаще.

– Послушай, Миша, скажи… Я давно хотела тебя спросить… Миша, скажи, что он делает там, Андрюша? Где он? … Я знаю, что ему худо… Ему очень худо… Миша, правда, что он социалист?

Миша молча кивнул головой.

Наташе было семнадцать лет. У нее были голубые глаза, почти льняные белокурые волосы и длинные узкие руки. Она училась дома: зимою в Москве и летом у себя в Болотове. О партии она знала только по слухам. Но, сама не понимая почему, она привыкла считать революционеров самоотверженными и замечательными людьми. Партия казалась ей тайным монастырем со строго отшельническим уставом. Ее смущало только одно, – что революционеры убивают, бросают бомбы и дерутся на баррикадах. И теперь было жутко, что тот самый, почти чужой ей Андрюша, портрет которого стоял у нее на столе, Андрюша, высокий, сильный, непонятный мужчина и брат, – революционер, то есть мученик и убийца. Стало ясно, почему он не пишет. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и всей жизни своей, тот не может быть Моим учеником», – вспомнились ей слова из любимого евангелиста Луки.

Мише было не жутко, ему было радостно знать, что его брат – член партии и революционер. О партии он знал мало, немногим более, чем сестра. Иногда в гимназии он украдкой прочитывал запрещенные книги. По этим книгам жизнь революционеров казалась доблестным подвигом и нелицемерною жертвой. Он плохо понимал, чего именно добиваются социалисты, но верил, что все, чего они требуют, справедливо и хорошо. Он не раз слышал, что только социалисты честные люди и что уважающий себя человек в России не может

не быть революционером… И, не зная ни партии, ни социализма, ни революции, не отдавая себе отчета, что такое террор, и даже не задумываясь над этим, он вдохновенно, по-юношески решил, что обязан служить народу. И когда он это решил, незнакомая и далекая партия стала близкой, родной и любимой. И уже не за народ, за партию, за Андрюшу и за таинственный комитет он был искренно готов отдать свою жизнь.

– Миша… – негромко позвала Наташа.

– Что?

– Миша… а ты тоже думал об этом?

Понимая ее без слов, Миша опять кивнул головой.

– Ну, и что же, Миша? Миша не отвечал.

– Миша…

– Что?

– Миша, тебе не страшно?

– Что страшно?

– Тебе не страшно… убить? Миша заволновался.

– Ах, Наташа, убить… – подымаясь с измятой травы, возбужденно заговорил он. – Зачем ты спрашиваешь?… А они? … Разве они не убивают?… Разве не вешают?… Разве не расстреливают рабочих? А девятое января?… Разве кругом не «насилие и зло безраздельно царят»?… Наташа, я этого не могу… Понимаешь ли, не могу…

– А все-таки, Миша… убить.

– А Андрюша?

– Что же Андрюша?

– Разве Андрюша не убивает?

Наташа умолкла. Ей вспомнились другие слова того же евангелиста Луки: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас».

VIII

Отставной генерал Николай Степанович Болотов был человек твердых правил. «Отечество», «церковь», «царь» были для него не только торжественными словами. В этих словах он полагал смысл своей жизни, как его сын Андрюша полагал смысл своей в словах противоположных: «республика», «революция», «социализм». Точно так же, как все, Николай Степанович чувствовал, что в России совершается что-то новое, но уразуметь значения этого нового, конечно, не мог. Он знал, что «отечество» в опасности: каждое утро газеты сообщали о поражениях на театре войны. Но он не спрашивал себя, не авантюра ли эта губительная война и кто за нее ответствен? Россия воевала с Японией, и Япония побеждала Россию. Перед таким беспримерным позором должны были умолкнуть все разногласия: при кораблекрушении не судят виновных, а спасают корабль, и при пожаре не ищут причины, а заливают огонь. Он думал, что в несчастьях России виноваты и те, кто сумасбродно затеял войну, и те, кто бездарно командовал войсками, и те, кто высмеивал армию, и те, кто боролся с правительством, и Куропаткин, и Плеве, и Алексеев, и интенданты, и студенты, и евреи, и поляки, и финны, – словом, все русские граждане, вся Россия. Он не замечал, что подписывал «отечеству» приговор еще более суровый, чем тот, который подписали японцы под Мукденом

и при Цусиме. Но если бы победила Россия, если бы Япония была разбита, он бы порадовался войне. Он не задумывался над тем, насколько каждая война жестока и преступна. Он смотрел на войну послушными глазами солдата, как на нерушимый закон, освященный от века, о котором рассуждать кощунственно и бесплодно. Если кто-нибудь спорил с ним, он отвечал не убедительным, но исполненным для него проникновенного смысла словом: «Несть власть, аще не от Бога». Он был горд своим сыном Сашей: Саша честно служил «отечеству» и «царю».

«Отечество» было в опасности. Он знал это еще потому, что те же газеты приносили тревожные вести об убийствах, расстрелах, забастовках, крестьянских волнениях, о заговорщицкой партии, о военных судах и бомбах. Эти вести его волновали. Он думал, что если в России и случаются беззакония, то единственно оттого, что царь о них ничего не знает, и что если бы царь узнал, он уничтожил бы их своею, Богом данною, властью. Когда средний сын его Андрей Болотов был арестован впервые, он принял этот арест за печальное недоразумение, за ошибку презираемых им жандармов. Он поехал немедленно в Петербург, хлопотал у министра и грозил бесстыдной охране. Он не мог допустить, чтобы сын его, умный и честный Андрюша, стал «преступником», вредным для «отечества» человеком. Но когда Андрюша без согласия отца бросил технологический институт и скрылся из Петербурга, он заподозрил горькую правду. С упрямой надеждой

он верил в сыновнее покаяние и утешался притчей о блудном сыне. «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

Жене Николая Степановича Татьяне Михайловне было безразлично, будет ли в России демократическая республика, конституционная монархия или самодержавие. Всякая война казалась ей, как и сыну ее Андрею, кровавым перед Богом и людьми преступлением, японская же война в особенности, быть может потому, что в ней участвовал и жертвовал своей жизнью ее первенец Саша. Своим женским инстинктом, изощренным инстинктом матери, она чувствовала, что главное вовсе не в том, в чем его полагают мужчины. По ее мнению, главное было в чем-то другом, чего она не умела бы высказать, а когда начинала высказывать, то говорила простосердечно, что «надо жить по любви». Что это значит, она и сама не знала. Ей казалось, что оба сына ее живут по любви, хотя оба убивали людей. Оба делали свое полезное дело. Оба были в опасности. Обоих она помнила еще в те далекие годы, когда они плакали у нее на руках и, ворча, сосали материнскую грудь. И она молилась об обоих их вместе смиренной молитвой о сохранении им жизни.

Когда приехал меньшой ее сын, Михаил, она одна заметила в нем перемену. Она заметила, как огрубел его голос, как неуловимо похудело юношеское лицо и как иногда тревогою загорались голубые глаза. Хотя теперь, когда он был с нею, ей казалось, что старших детей она любит больше, она безотчетно окружала его беспрестанной, нежной и робкой,

прощальною лаской. Она поняла, что он своим полудетским, восемнадцатилетним умом уже что-то решил. Она знала, что это решение источник нового горя. Она знала, что и он, ее третий, последний сын, становится понемногу мужчиной, то есть уходит к трудному, непонятному ей мужскому делу. Она знала, что она не в силах его удержать. И к молитве о старших детях она прибавила молитву о сохранении и ему жизни.

В середине июля пришло от Саши письмо. Все собрались в бильярдной, высокой, прохладной комнате с коврами по стенам и семейными портретами в позолоченных рамах. Бильярдная выходила в сад, и старые липы, посаженные дедом Николая Степановича, трепетали зелеными ветками и бились об окна клейкими листьями. Николай Степанович, гладко выбритый, крепкий старик, со старческим румянцем на полных щеках, вынул из бокового кармана военного сюртука и бережно развернул только что полученное от Саши письмо. Надев золотые очки и строго оглядев жену и детей, точно желая удостовериться, что они хотят и готовы слушать, он торжественным голосом начал читать. Саша ясно и коротко, без, жалоб и запоздалого осуждения, писал про Цусимский бой. Его спокойные, точные строки напоминали Мише их автора, спокойного, с холодными глазами, широкоплечего молодого офицера. И пока Николай Степанович читал, Миша испытывал то странное чувство, которое владело им, когда он видел старшего брата: смешанное чувство

любви, уважения и страха. «Когда японские офицеры взошли на корабль, – голос Николая Степановича дрогнул, – они спустили Андреевский флаг, подняли свой, восходящего солнца, расставили часовых. Наша команда, истомленная бессонною ночью и боем, бросилась на цистерны с вином. Было множество пьяных. Я видел, как один из наших матросов покачнулся и упал лицом наземь. Японский часовой положил винтовку, подошел, вытер ему лицо и, вернувшись на свое место, продолжал отбывать вахту…» Николай Степанович приостановился и поднес к глазам белый платок.

– Что сделали… – прошептал он, снимая очки, – Господи, что они сделали…

– Слава Богу, Саша не ранен… – сказала Татьяна Михайловна. Она слушала чтение, наклонив несколько набок свою седую, еще красивую голову и боясь проронить хоть бы одно ничтожное слово. Из письма она поняла и запомнила только, что Саша жив и находится вне опасности.

– Что они сделали… – всхлипывая, повторял Николай Степанович.

Миша, все время молчавший, густо, пятнами покраснел.

– Кто сделал, папа?

– Кто сделал?… – сердясь и размахивая черешневым мундштуком, ответил Николай Степанович. – Все виноваты… И вот эти… волосатики эти… Не учатся, политикой занимаются, революцию затеяли, конституцию им подавай… Словно, прости Господи, немцы какие-то… А отечество гиб-

нет… Андреевский флаг спустили, японский флаг подняли… А у нас рады… Так, мол, и надо… Не понимают того, что позор!.. позор!.. позор!.. – крикнул он, стуча мундштуком, и таким гневным голосом, точно кто-нибудь ему возражал. – Говорят, жестокость – военные суды… Как, помилуйте, не жестокость? Война, льется кровь, а тут, изволите видеть, бомбы, забастовки, помещиков грабят… Вот, пишут в газетах, в Саратовской губернии мужики усадьбы жгут… Значит, надо прощать? Нет, вешать надо… Вешать! – опять застучал он по ручке кресла.

Наташа не возражала. Она давно привыкла к этим неистовым вспышкам отцовского гнева. Ей было жалко отца. Она чувствовала, что это не его мысли и что угрозы его не страшны. Но для Миши речь Николая Степановича прозвучала незаслуженным оскорблением. Показалось, что его долг доказать, что отец ошибается, что Андрюша и революционеры не «волосатики», а именно те Минины и Пожарские, которые спасут Россию от позора и разорения. Мельком взглянув на Наташу, он прерывающимся голосом сказал:

– Кого надо вешать, папа?… Вешать надо не тех, о ком ты говоришь, а…

Николай Степанович побледнел.

– Вот, вот, вот как ты их воспитала! – трясясь от гнева и задыхаясь, обратился он к Татьяне Михайловне. – Мальчишка смеет спорить!.. С кем?… Со мною!.. С отцом… Смеет рассуждать!.. Смотри, Михаил, и ты туда же… Смотри!.. –

погрозил он костлявым пальцем. – Не допущу!.. Не позволю!.. Довольно позора… Бери пример с Александра, не с других… – опять намекнул он на сына Андрея, мысль о котором мучительно не давала ему покоя. – Родителей не уважают, отечество не любят, царя не чтут, в Бога не веруют… Негодяи!.. – прохрипел он и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

– Нет, воля твоя, а я не понимаю, – заговорил Миша, волнуясь и избегая смотреть на мать. – Герои отдают свою жизнь за народ, за общее счастье, а говорят, что их нужно вешать… Происходят возмутительнейшие насилия, и все их переносят… А когда находятся люди, которые хотят спасти… их вешать?… Что же это такое?…

Татьяна Михайловна с горестью смотрела на сына. Он был очень хорош в своем гневе. Высокий, голубоглазый, как все ее дети, с раскрасневшимся от негодования лицом, он ходил по комнате большими взволнованными шагами. Татьяна Михайловна вздохнула.

Миша обернулся к ней. Она сидела по-прежнему на диване, наклонив немного набок свою старую голову и перебирая тонкими пальцами концы вязаной черной косынки. Мише стало вдруг стыдно. Захотелось объяснить матери, что он больше не в силах терпеть, что он любит партию, верит Андрюше и хочет послужить народу и революции. Но неясное чувство удерживало его. По склоненной седой голове, по покорно-грустным глазам и, главное, по тому, как печально

молчала мать, он почувствовал, что она понимает его и что слова здесь бессильны. Он медленно подошел к окну и заглянул в сад. Шумели липы. Работник Кузьма из длинношейной зеленой лейки поливал грядки петуний, вербены, резеды и левкоев, – любимого цветника Николая Степановича. В комнате стало тихо. Нарушая молчание, Татьяна Михайловна сказала:

– А о нас ты, Миша, подумал?

Миша ничего не ответил. Он не знал, что ответить. Чтобы скрыть малодушные, как он думал, слезы, он закрыл руками лицо и выбежал в сад. Он добежал до реки. В прибрежной, влажной траве пахло камышом и водою. Прямо над ним, догоняя друг друга, плыли узорчатые, изжелта-белые, беспокойные облака. И от их бесследного бега становилось еще беспокойнее и грустнее.

IX

Прошло лето 1905 года с убийствами, стачками, демонстрациями и зловеще-яркой зарницей – дерзновенным мятежом на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Наступила осень и с нею великая всероссийская забастовка.

Хотя и Арсений Иванович, и Болотов, и Ваня, и Сережа, и Давид, и все бесчисленные товарищи ожидали каждый день революции, верили в ее неотвратимую близость и надеялись на ее обновляющую победу, они не поняли, что их желания сбылись и революция уже совершается. Еще вчера они озабоченно делали свое тайное партийное дело. Одни спорили в комитетах, другие готовили бомбы; третьи «организовали» крестьян, рабочих, солдат; четвертые писали воззвания; пятые воззвания эти печатали; шестые говорили пылкие речи, – словом, еще вчера хлопотливо жужжало прочно налаженное, хозяйственное веретено, и никто бы не мог догадаться, что революция уже на дворе, уже стучится в ворота. Но не только партию революция застала врасплох. И жандармы, и сыщики, и чиновники, и министры, хотя и боялись ее, хотя и чувствовали ее приближение, не могли верить, что-то небывалое, что происходит у них на глазах, и есть та страшная революция, которую они тщетно пытались предотвратить. Но вот настало так долгожданное и все-таки внезапное «завтра». Сверкнула молния: разразилась великая

забастовка. Наяву свершился сказочный сон.

Как это произошло, никто не знал и никто бы не сумел объяснить. Какое именно из распоряжений правительства переполнило чашу? Какой именно революционер подал пример отваги? Чья невинная кровь растопила Северный полюс?… Так Нева, полноводная и большая река, спит зимой в своей каменной колыбели. Но вот, резвясь, соскользнул с тюремного бастиона апрельский живительный луч. Снег засверкал алмазными искрами, но не побежали ручьи и не тронулся лед. За первым лучом брызнул второй. Над Петропавловской крепостью засияло петербургское солнце, – бледный, немощный и все-таки всемогущий Дракон. И невидимкою, тайно, на дне, на морозных невских глубинах, омывая Алексеевский равелин, зазвенели, журча, гремучие ручейки. К ним понеслись говорливые воды. С тяжким грохотом вскрылась Нева, и пошел весенний, звонкий и ломкий, всесокрушающий лед.

Когда вышел манифест 17 октября, Андрей Болотов не сразу понял его значение. Он со вниманием читал широковещательные страницы о созыве Государственной думы, о свободе печати, совести, союзов, собраний, но, читая эти слова, не мог освоиться с ними. Тогда, когда он встретил на Невском мальчишку, продающего карикатуры на Витте, когда он купил одну из этих карикатур и прочел остроумно-грубую подпись под ней – насмешку над всесильным министром, – он понял, что в России что-то переменилось, что, каково

бы ни было новое, старое, дряхлое и ветхозаветное вернуться не может. Первый раз в жизни он испытывал счастливое чувство освобождения: падали все неразгаданные вопросы, те вопросы, которые удручали его в последнее время. Можно было забыть о терроре, о Ване, о смерти, о своем праве на жизнь. Все опять было ясно. Казалось, достигнуто главное, то неоспоримое главное, в чем заключалась сокровенная цель всех усилий: казалось, открылся путь в обетованную землю – к справедливому и свободному устроению России. Но это чистое и светлое чувство пришло не одно. Его отравило недоумение: как приспособиться к жизни, как жить вне подполья, вне комитета, вне конспирации, как отвыкнуть от партийных привычек, как устроить не мир, а свою муравьиную жизнь? Спрашивая себя впервые, что он знает и на что он способен, Болотов с удивлением признавался себе, что, кроме революционного опыта, у него нет богатства и что, кроме навыков конспирации, он не вынес из партии ничего: многотрудная жизнь миллионов серых людей была ему неизвестна, непонятна и недоступна. И становилось жаль, что так скоро все кончено, что революция уже победила, что он, как поденщик после расчета, бесприютен и сир. С горечью вспоминались когда-то слышанные от Арсения Ивановича затейливые слова: «Сатана гордился – с небес свалился, Фараон гордился – в море утопился, а мы гордимся – куда годимся?…» Третье чувство, которое он испытывал, наиболее сложное, рождавшее в нем одновременно и

надежду и озлобление, было неискоренимое доверие к возвещенной манифестом свободе. Он видел еще недавно измученное, а теперь умиротворенное лицо Веры Андреевны; видел самодовольную улыбку доктора Берга, точно именно доктор Берг руководил забастовкой, слышал старческий бас Арсения Ивановича: «Теперь, кормилец, шабаш… рычагом не выворотишь, жерновом не вымелешь…» Он видел и слышал все это и все-таки не мог успокоить горького, взращенного годами, сомнения. Его смущала не капитуляция правительства, а единственно то, что она наступила так скоро, без упорной борьбы и почти без жертв. Видя, как внезапно, помимо его желания и воли, вспыхнула великая забастовка, как широко она разлилась, как глубоко потрясла всю Россию, он понял и с сокрушением признал, что не партия со своими комитетами «сорганизовала» ее и что не в ее, партии, власти остановить, ускорить или замедлить величавый ход надвигающихся событий. И это, очевидное для всей России, бессилие возлюбленной партии было источником для него непрестанного и тяжкого огорчения.

Колебания его продолжались недолго. Однажды, торопясь в редакцию партийной, разрешенной новым законом, газеты, он проходил по нарядной Адмиралтейской набережной. Омраченная осенним ветром, Нева сердито вздувала свои свинцовые воды. Воздух был влажен. Таял желтый, волнистый, петербургский туман. В Александровском, голом, усеянном ржавым листом, саду теснился народ. Серая, сдержан-

но-молчаливая, точно делающая свое важное, кровное, всем одинаково близкое дело, толпа выливалась темными брызгами на Адмиралтейский проспект и редела на Исаакиевской площади. Кое-где уныло, как тряпка, висели красные флаги. На черных сучьях деревьев и на чугунных столбах решетки гнездились галчата – голодные уличные мальчишки в надвинутых на уши шапках и в тяжелых подкованных сапогах. Какой-то, совсем еще юный технолог, в расстегнутой, несмотря на туман, тужурке, несмелым тоненьким голоском говорил обычную речь: «Товарищи!.. Манифест!.. Свобода!..» – сквозь холодную мглу долетали до Болотова обрывки знакомых слов. Болотов видел густое море людей, над этим безмолвным морем безусое лицо говорящего речь студента. Уйти было некуда: всюду – спереди, сзади, слева и справа, его сжимали чьи-то мокрые, широкие спины, чьи-то плечи, чьи-то стесненные груди. Вдруг студент крикнул что-то, чего Болотов не успел разобрать. Толпа вздрогнула, потом тихо, как бы в раздумье, поколебалась. Потом опять вздохнула сильнее, глубже. И вдруг сразу, как стадо перепуганных коз, давя и толкая друг друга, спеша, волнуясь и задыхаясь, шарахнулись стены смятенных человеческих тел. Кричали дети, плакали матери, мужчины с побледневшими лицами, сжав кулаки, силой пробивали себе дорогу. Стоял топот и рев и придушенный, сдавленный отчаянием стон. Болотов поднял голову. На пустынном Адмиралтейском проспекте, загораживая выход из сада, сплошною цепью протянулись солдаты

в измокших, грязно-серых шинелях. Почему-то именно эти шинели, их твердое и унылое однообразие, вселяли суеверный, нерассуждающий страх. «Неужели будут стрелять? – мелькнуло у Болотова, но эта мысль показалась смешной. – Стрелять? Да у нас ведь свобода…» – с облегчением подумал он. Но в ту же минуту раздался странный, короткий, неожиданный треск. О решетку сада защелкали пули. Болотов видел, как с оголенной, чахоточной липы, ломая ветви, покатился маленький, невзрачный комок. На потемневшей сырой дорожке, неудобно подвернув под себя правую руку, лежал ничком мальчик лет десяти. Он лежал так спокойно, точно не он упал сверху, а кто-то другой, а он лег сам, по своей охоте. Издали можно было подумать, что он крепко спит. Болотов наклонился. Из-под ушастого, должно быть, тятькиного картуза виднелась тонкая шея с завитками нежных светлых волос. Плечи были худые и торчали углами. К слабому тельцу, к узкой детской спине прилипла розовая, в рваных заплатах, рубашка. Не отдавая себе отчета, Болотов осторожно тронул мальчика за плечо, но тотчас, отдернув пальцы, встал и медленно мимо солдат вышел на Невский. «Обернуться?… Не обернуться?… Бежать?… – думал он, чувствуя легкий и неприятный озноб. – Что это? Неужели я трус?…» – кольнула обидная мысль, и, выпрямившись во весь свой Высокий рост, он нарочно замедлил шаги и пошел по Невскому, прямо по мостовой. Он шел один. Кругом не было никого.

X

В начале декабря, когда крепко стал санный путь и мороз зачертил узоры на окнах, в Петербурге упрямо заговорили о неминуемых баррикадах. Хотя Болотов и его товарищи знали, что никакими постановлениями нельзя заставить людей бунтовать, если они этого не хотят, они все-таки думали, что их долг перед партией разрешить вопрос «государственного значения»: быть или не быть забастовке, то есть всероссийскому вооруженному, как им казалось, непременно победоносному восстанию.

Заседание было назначено в 11 часов вечера на Каменноостровском проспекте, в уединенном особняке купца Валабуева. Внизу, у резного, в русском стиле, подъезда ливрейный лакей бесшумно отворял дубовые двери. Товарищи, раздевшись и отряхнув мокрый снег, подымались по мраморной лестнице во второй этаж, в кабинет хозяина дома. Там их встречал Валабуев, рыхлый, с обрюзгшим сытым лицом господин, остриженный под гребенку. Он был одет по английской моде: в узкие брюки, просторный черный сюртук и цветную жилетку. Он не знал никого, кто должен был явиться к нему, но здоровался дружелюбно, как добрый знакомый: библейская борода Арсения Ивановича внушала ему уважение и страх.

Когда Болотов вошел в кабинет, все товарищи были в сбо-

ре. Недоставало только Аркадия Розенштерна да приезжего из Москвы Владимира Глебова, или, как в партии называли его, «Володи».

В полутемном, дальнем углу, на диване; род большим, писанным во весь рост, портретом Толстого, Вера Андреевна разговаривала со старым, густо заросшим курчавыми волосами евреем. Болотов знал этого человека – фамилия его была Залкинд, – знал, что он всю свою долгую жизнь томился по тюрьмам и, как умел, служил революции. Но Болотов его не любил. Не любил за зеленоватое, золотушное, в красных прыщах лицо, за воспаленные, оловянные глазки, за неопрятный пиджак и за преувеличенную товарищескую развязность. Он стыдился этой своей нелюбви, упрекал себя в несправедливости и пристрастии и старался быть с Залкиндом изысканно предупредительным и любезным. Завидев Болотова, Залкинд приветливо закивал головой и, не вставая, протянул холодную и сырую руку:

– Здравствуйте… Что нового? Как поживаете?…

– Благодарю вас. А вы? – с принужденной улыбкой проговорил Болотов и сейчас же почувствовал то хмельное и злобное раздражение, которое мучило его минувшее лето. «Ну, зачем этот здесь? – подумал он, глядя с ненавистью на Залкинда. – Что он знает? Что он умеет? Что он может решать?» – с внезапной тоской спросил он себя.

Вера Андреевна, в неизменном черном, без всякого украшения, платье, положив ногу на ногу и то и дело чиркая

спичкой, что-то длинно рассказывала. Болотов прислушался к ее усталому однообразному голосу. Она говорила о том, как ее однажды арестовали в Полтаве и как она сидела в полтавской губернской тюрьме. Залкинд слушал ее и сокрушенно вздыхал.

– Вы знаете, – зажигая потухшую папиросу, сказала Вера Андреевна, – …книг мало, только духовного содержания… Свиданий нет… Скучно…

– Вы что? Вы долго сидели? – опять вздохнул Залкинд.

– Двадцать шесть месяцев…

Болотов не стал слушать. «Господи, – думал он, – о чем они говорят?… Одно и то же всегда, всегда, всегда, и у всех одно и то же…» За круглым чайным столом за серебряным самоваром сидели в креслах Арсений Иванович, Валабуев и доктор Берг. Болотов подошел к столу. Арсений Иванович, размешивая ложечкой чай и поглядывая с лукавой улыбкой на Валабуева, говорил надтреснутым басом:

– Незачем нам, кормилец, калину ломать… Дело ясное… Что ж, что они совет рабочих депутатов арестовали?… Вода путь найдет… Вот погодите, Учредительное собрание отдаст землю народу. Теперь мы на полушке помириться не можем. Не-ет, теперь либо все, либо ничего, – улыбнулся он, накладывая себе варенья, – если народ восстанет, тогда как? Что они могут поделать?… Нет, кормилец, теперь наша взяла, теперь мы силой усилились, теперь им не устоять… куда-а!..

Арсению Ивановичу хотелось убедить Валабуева в значе-

нии и силе партии, но Валабуев молчал, слегка покачивая круглой стриженой головой, и невозможно было понять, соглашается он или не возражает только из вежливости. Доктор Берг зевнул, посмотрел на свои золотые с монограммой часы и с досадой перебил Арсения Ивановича:

– Черт знает что! Половина двенадцатого… Всегда кто-нибудь опоздает. Вечная неаккуратность российская…

Доктор Берг считал себя самым практичным и потому самым полезным и ценным из всех членов партии. По его мнению, половина неудач революции происходила от русской, славянской лени, от неумения, как он говорил, «написать простое деловое письмо». Он любил точность и ставил себе в достойную награды заслугу, что никогда не забывал адресов, никогда не опаздывал на свидания и никогда не смешивал «паролей» и «явок». «Les affaires sont les affaires…»[2] – повторял он по-французски и с презрением относился к тем из товарищей, которые «суетятся» и «зря суются в опасность». У него были тонкие, белые руки. Он носил высокие воротнички и разноцветные галстуки. Он был членом партии много лет, но арестован не был ни разу.

– Так-то, кормилец, – продолжал Арсений Иванович, ласково похлопывая Валабуева по плечу, – расскажу я вам случай. Помню, было это в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году, нет, постойте… – он задумался, – нет, не в семьдесят седьмом, а в семьдесят восьмом…

---

[2] Дело есть дело… (фр.)

Он не успел окончить рассказ, как заколыхалась тяжелая занавеска и без доклада раскрылась дверь. Вошел молодой человек, лет двадцати шести, громадного роста, с кудрявою черною бородой и со множеством глубоких рябин на лице, и молча остановился. Одет он был в синюю, грубого сукна, поддевку. Его можно было принять за приказчика, артельщика, молодого старообрядца-купца но никак не за революционера. Это был Глебов, легендарный «Володя», знаменитый на Волге своей отчаянной отвагой. Валабуев мельком взглянул на нового гостя и потупясь, вышел из комнаты. Володя небрежно кивнул головой и сел у окна подле гипсовой статуи Венеры Милосской.

Арсений Иванович кашлянул:

– Что ж, начнемте, кормильцы?…

И опять точно так же, как полгода назад, когда обсуждался вопрос о военном восстании, они заговорили в непоколебимой уверенности, что от их разговоров зависит если не исход революции, то, по крайней мере, ее начало. Болотов слушал и с гневом ловил себя на злых, надменных, несвойственных ему мыслях. «Неужели они не научились еще? – думал он, не замечая, что вместо „мы“ поставил разделяющее „они“. – Неужели не довольно примера Давида?… Неужели они не знают, что говорить об убийстве имеет право единственно тот, кто сам готов умереть, кто видел ее?» Он с беспокойством оглянулся на Глебова. Он слышал о нем, как о прямодушном и смелом революционере, и боялся теперь, что

и он будет говорить бесконечно бесплодные речи. Но Володя, свесив на грудь лохматую, черную, как у жука, голову и равнодушно закрыв глаза, казалось, дремал. Тогда Болотову захотелось громко сказать, сказать так, чтобы слышали все, вся партия, все товарищи, что разговоры эти – игрушки и что от них ничего зависеть не может. Захотелось сказать, что если вспыхнет восстание, то только по воле тех, кто сам возьмет в руки оружие, по воле тех безвестных рабочих, которые, не спросясь позволения, выстроят баррикады. Но он промолчал. Он предчувствовал, что его не поймут и что доктор Берг непременно скажет те значительные слова, на которые не хватит духу ответить. Доктор Берг холодно спросил его: отрицает он влияние партии или нет и если отрицает, то зачем состоит ее членом, а если нет, то как может он относиться с пренебрежением к ее «директивам»?

Говорил Арсений Иванович, как всегда, веско, внушительно роняя слова:

– Что греха таить?… Силы наши не собраны, а разбросаны… Оружия мало. До сих пор войско не с нами. Рабочие истомились. Объявить сейчас забастовку значит… Что, кормильцы, то значит?… Значит – призывать к революции, к восстанию всем миром… Ну, а готовы ли мы? Эх, послушайте меня, старика… Ржаной хлебушка – калачу дедушка… Обождать надо. Приезжал по весне тут один, как его?… Давид?… Или как?… Машет руками, кричит: восстание… В полку восстание!.. И не послушался нас… – с укоризной

взглянув на Болотова, упрекнул Арсений Иванович: он считал Болотова виновником неудачи Давида. – Что же вышло хорошего? И восстания-то не было, и сам еле-еле ноги унес. Я вот и думаю: обождать. Лучше мала, да нивка, чем велико, да болото… Не время теперь восстания-то делать… Надо терпеть… До весны потерпеть; там видно будет, а пока что – нельзя, нельзя и нельзя…

Слова Арсения Ивановича были благоразумны и осторожны. Но почему-то Болотову казалось, что Арсений Иванович не прав, что в его рассуждениях скрыта тонкая, ему самому незаметная ложь. Он хотел говорить, но Володя предупредил его. Нехотя поднявшись со стула, он, точно спросонья, медленно обвел всех глазами, усмехнулся зелено-желтому галстуку доктора Берга и, обращаясь к одному Арсению Ивановичу, начал громко, по-московски растягивая слова:

– Вздор говорите, Арсений Иванович… Для чего мы здесь собрались? Для решения философического, – он так и сказал «философического», – вопроса о судьбе революции? Ну, так лучше взять шапки и по домам: не в коня корм… Не для словопрений я приехал сюда… Вопрос вовсе не в том, следует или нет объявить забастовку – не нам ее объявлять, – а вот в чем, и только в этом: если в Петербурге, Москве или где-либо в России вспыхнет восстание, что намерена делать партия? Я спрашиваю: чем партия поможет ему?… Случилась первая забастовка. Где мы были?… Ну, так это – позор! – Володя помолчал. – Нужно дать денег, оружия, людей… Да

и самим идти нужно… А не баклуши бить, – твердо договорил он и сел.

При этих словах Арсений Иванович забарабанил пальцами по столу. Вера Андреевна покраснела. Залкинд часто заморгал воспаленными глазками и с негодующим изумлением уставился на Володю.

– По-вашему, значит, товарищ, – потирая белые руки, заметил холодно доктор Берг, – если только я верно вас понял, выходит так: если где-либо, кто-либо, по своему усмотрению, не испросив дозволения партии, выстроит баррикаду, мы обязаны оказать ему помощь… Так я вас понял?

– Так, – неохотно ответил Володя и закурил.

– Хорошо-с, оказать ему помощь, то есть истощить средства партии? Так?

– Так.

– Хорошо-с, и не только истощить средства партии, но и самим неизбежно погибнуть?

– Да, если нужно, погибнуть.

– Хорошо-с. Значит, если завтра будет восстание в Москве, надо ехать в Москву.

– Надо ехать в Москву.

– И бросить все дела в Петербурге?

– Какие, к черту, у вас дела? – вдруг, сдвинув брови и быстро вскакивая со стула, загремел Володя. – Языком трепать? Суждения постановлять? филозофические вопросы решать?… Какие, к черту, дела, когда завтра восстание?…

– Эх, молодость, молодость! – мягко, вкрадчивым голосом вмешался Арсений Иванович. – И туда и сюда… И восстание… И поскорее… И чтобы не иначе как завтра… А кто будет кашу расхлебывать, и горюшка мало… Вот поживете с мое – поймете.

– Вам, конечно, и книги в руки… – возразил с усмешкой Володя, – вы наши отцы… Только я из Москвы не за поучениями, а за делом приехал… Даете денег? Да или нет? Даете оружие? Да или нет? Есть у вас люди? Да или нет?…

Когда он, все еще красный от гнева, вышел на мраморную, устланную малиновым ковром лестницу и Валабуев в модном жилете и длинном английском сюртуке, кланяясь, жал ему руку, Болотов, все время молчавший, нерешительно подошел к нему:

– Послушайте, Глебов…

– Чего? – спускаясь с лестницы, недовольно бросил Володя.

– Постойте… Я поеду с вами в Москву. Володя остановился и подозрительно, сверху вниз, посмотрел на него.

– Вы?…

Болотову стало обидно. Он не уловил презрения в словах Володи: он не мог бы поверить, что кто-нибудь может его презирать, – такой осмысленно-сложной и самоотверженно-трудной казалась ему его жизнь. Но он понял, что для Володи он не любимый партией, известный революционер Андрей Болотов, достойный доверия и уважения, а человек,

мужество и решимость которого требуют доказательств. Он хотел рассердиться, но угрюмое лицо Володи внезапно просветлело улыбкой.

– Ну, что же? В Москву?… Правильно… Хочешь есть калачи, не лежи на печи… – засмеялся Володя и сильно стукнул дубовою дверью.

С ближайшим поездом они вместе, в одном вагоне, выехали с Николаевского вокзала.

XI

– Ответьте мне на один вопрос, – сказал Болотов, когда поезд тронулся и, закачались вагоны, – почему вы удивились, что я хочу ехать в Москву? Что же вы думаете, мы не способны на то, на что способен любой член вашей партии?

Володя ответил не сразу. Когда он думал, он высоко подымал брови, и от этого его бородатое лицо теряло обычную строгость и становилось простым и добрым, обыкновенным русским лицом.

– Как вам сказать? – заговорил он, снимая потертый картуз и кладя его в сетку. – Точно, я мало верю тем, кто языком треплет. Ну, да ведь есть исключения… Меня не это смущает. Главное вот в чем: не можешь идти, – не иди, не иди, не надо, никто на веревке не тащит, но зачем слова разные говорить?… Помалкивали бы в тряпичку, а то мы-ста, да мы-ста, мы – соль земли, мы – интеллигенты, мы – партия, мы – революция, мы мир переделаем… Вот один такой, я где-то читал, – так тот так прямо и жарит: «мы – строители Сольнесы, мы на каменных фундаментах строим воздушные замки». Каково? Вот уж поистине стыда нет… Ведь когда дело до дела дойдет, до настоящего дела, – где они, эти строители? Днем с огнем не сыскать… Если и сделано что, то ведь не ими, не теми, кто решения постановляет и канцелярские циркуляры пишет… Ложь это все. И большая… Я-то ведь

понимаю, меня на вороных не объедешь, а вы посмотрите, рабочий им верит, каждому слову… А они? Эх!.. – с сердцем махнул Володя рукой и стал скручивать толстыми пальцами папиросу.

«Точь-в-точь я и Ваня…» – подумал Болотов, но как только он это подумал, ему стало досадно. Разве Арсений Иванович не готов умереть? Разве доктор Берг не готов умереть? Или Вера Андреевна? Или Залкинд? Или он сам? Ведь вот он едет в Москву. «Зачем, в самом деле, я еду в Москву?» – спросил он себя и, не найдя ответа, поморщился и сказал:

– Как вам не стыдно думать, что они… что мы, – поправился он, – лжем?… Случится, мы сумеем умереть не хуже других…

– Улита едет, когда-то будет… Вы вот что мне объясните, – выпуская кольцами дым, возразил спокойно Володя, – я философ плохой и разных там ваших штук не знаю. А что вижу, то говорю. Партия признает террор? Да? А кто бомбы бросает? Вы? Как бы не так. Из вас никто никогда бомбы в руках не держал. Партия призывает к восстанию? Да? А кто дерется на кораблях, в казармах, на баррикадах? Вы? Нет, не вы. Из вас никто и пороху-то не нюхал. Вот вы слышали, как этот ваш немец Берг испугался: «Бросить все дела в Петербурге!» И ах, и ох, и опять ах… Вот, изволите видеть, и так каждый раз. Каждый раз «государственные дела» мешают. Почему они мне не мешают? И какие такие, скажите, «государственные дела»? Добро бы действительно дела-

ли дело, а то ведь празднословие одно. Вы говорите: «случится». Не смею, конечно, спорить, но когда же и как «случится», если за семью замками сидеть, всю жизнь в перманентных, черт их дери, заседаниях звонить? Я так рассуждаю: если ты – член партии, признающей террор, ты должен уметь в любую минуту выйти с бомбой в руках. А у нас? Из десятка… Да что из десятка?… Из сотни идет один, а куда деваются остальные? Вы скажете: пропаганда, агитация, организация и всякая штука… Прекрасно. Но скажите вы мне, на кой черт агитировать за восстание, если сам поджимаешь хвост? Вы подумайте только, – пишут статьи о терроре, призывают, вопят, а сами в террор не идут, да и верят еще, что правы: мы-де голова партии, ее мозг, или у нас-де «специальных способностей» нет. «Специальных способностей»?… Для чего? Для того, чтобы умирать? Какие, к черту, способности тут нужны? Не трусь, не трусь, и еще раз не трусь. Вот вам и вся наука. Противно смотреть, ей-богу… Сидит вот этакий хлюст, воротничок до ушей, галстук, как у павлина, и цедит сквозь зубы: «Принимая во внимание»… «каковой»… «поелику»,… или циркуляры строчит, а циркуляров-то этих никто знать не хочет, прочтут – ив корзинку… Ему оправдание: я-де в террор не иду потому, что я партии нужен… Или еще вот «разделение труда» придумали. Ну-с, будьте же справедливы. Убить Плеве, скажем. Обыватели радуются. Так им и Бог ведь велел; на то они обыватели, чтобы либо на радостях глотку драть, либо ругаться. С них взят-

ки гладки. Они и не лезут в герои. Шпана, так и есть шпана. Ну, а орлы? Ну, а партия? Да ведь, дорогие товарищи, господа члены партии, прочитав телеграмму о взрыве, от радости пьяны вповалку. Тут со стыда сгореть, что не я Плеве убил, от зависти лопнуть… Куда… Ничуть не бывало. Мы – террористы, конечно, только прошу извинить, на словах. Выпили, пропели «отречемся от старого мира», и баста. Террор, мол, Созоновы сделают, а мы будем книжки о пользе террора писать да за границей печатать. Ну, поймают, посадят на год в Кресты или в Якутку сошлют. Только и всего. Очень покойно. Тьфу!..

– Что же, по-вашему, делать?

– Что делать? Да вот что: всякий, способный носить оружие, обязан его носить, а младенцев и хилых, трусов и праздномыслов – по шее. Тогда выйдет толк. А теперь толку нет. Канцелярия какая-то всероссийская и ничего больше. Агитация, пропаганда… Прекрасно. Да время ли теперь языком трепать? Ведь у нас революция. Поймите: уже революция. Не будет, а есть, уже есть. Не готовиться надо, а делать. Ведь это все равно как если бы на нас немцы напали, а мы вместо того, чтобы крепости защищать, грамоте бы солдат стали учить. Побеждают не книжкой, а кулаком, не тем, что нюнят, Лазаря поют, а бомбами, пулеметами, кровью. Ну-с, а теперь рассудите так: всех членов партии, скажем, ну, сколько?… Ну, десять тысяч человек. Бросьте вы книжки в печку, вооружите вот этих людей, пусть все идут в бой. Сила?… Не так ли?

И ведь каждый из них на словах за террор и о баррикадах толкует… А у нас что делается? Что?… Срамота… Готовы идти сотни две. Ну, сотни две и идут… без вашего разрешения. А вы, ручки сложив, поощряете: идите, голубчики, бейтесь, а мы дома скромненько посидим, чайку на досуге заварим, философические вопросы обсудим либо съезд соберем, докладов глубокомысленных наготовим, речей назвоним. И что ведь самое скверное: никто этого знать не хочет, никто этого позора не замечает. Так, мол, и хорошо. Так, мол, и надо. В этом, мол, правда. Ведь, помилуйте, туда же о морали толкуют… Наша-де мораль высока, выше буржуазной морали. Мы-де социалисты, и еще разная ахинея… Позор!..

От слов Володи у Болотова неприятно туманилась голова и трудно было дышать. Возлюбленная, белоснежно-чистая партия становилась грязной, замаранной, точно чужие цепкие пальцы прошлись по ней. И если вчера у Валабуева в доме ему хотелось ответить Арсению Ивановичу, хотелось крикнуть, что слова его – ложь, то теперь им овладело злобное чувство. «Нет, он не прав, – стараясь не смотреть на Володю, с негодованием твердил он себе. – Не в этом правда… Не в этом…»

– А главное, вот в чем беда, – продолжал спокойно Володя, сплевывая и скручивая новую папиросу, – мешают! Ну, лежали бы на печи и молчали. Так нет. Суются. Сентиментальность их одолела. Того нельзя, то безнравственно, это непозволительно. Хотят революцию в белых перчатках сде-

лать. Не понимают того, – вдруг загремел он, – что кровь – всегда кровь, как там ее ни размазывай, как ручек ни отмывай. «Поменьше, мол, крови…» Да ведь это же иезуитство… Не в церковь, – на баррикады идем. Какие уж тут молитвы! А по мне, стесняться нечего: нету денег – воруй или, как в ваших салонах выражаются, «экспроприируй»… Я на Волге недавно был. Господи, что там творится!.. Жалко смотреть. Парень под виселицей, поймают – шабаш, а он без паспорта, без сапог, трое суток не евши. Ну, что ему делать? Разобьет казенную лавку, деньги украдет – спасен. Так, извольте видеть, – нельзя, а если и можно, то, извините, без жертв, а уж частных лиц ни-ни, невозможно, не тронь!.. Конечно, не тронь!.. Сидит буржуа толстопузый, господин коммерции советник Карманников, или помещик, благодетель крестьян, какой-нибудь генерал Забулдыгин, или паук Удавков. Нельзя, сохрани Бог: частные лица. Ну, значит, парню – на крюк. Чепуха! – стукнул он кулаком. – На войне, так не в гостиной, а на войне. Чего тут миндальничать? С нами не поминдальничают небось. Нас за ушко и на солнышко, дозвольте вам галстук надеть, а мы – и нашим и вашим, и капитал приобрести и невинность девичью соблюсти. Все это глупость одна… Сидят-сидят, как Симеоны-столпники, по тридцати лет свою святость высиживают, а в это время нас бьют мордой об стол да в кровь… Дерзай! На все дерзай, только тогда ты и человек. Червяки… И никаких вопросов тут нет, все позволено, слышите: все… Лишь бы добиться, только бы побе-

дить… С вопросами этими, с философиями, с белыми ручками, черта с два, далеко не уедешь… Ну, разболтался я с вами, – резко оборвал Глебов, – не охотник я до этих разговоров… интеллигентских. Не осудите. Завтра будем дело делать в Москве, а доказывать предоставим философам, вот этим, в манишках, черт их дери!.. Покойной ночи…

Володя скинул поддевку, положил ее под голову, повернулся к стене и сейчас же уснул. Должно быть, в поле шумела метель: сквозь грохот колес слышался тонкий, едва различимый, жалобный вой. Болотов, опустив голову на руки, не мигая, смотрел на просаленную обивку дивана и с усилием думал: «Прав Володя? Нет, конечно, не прав. Правда не здесь. Но где же? – в сотый раз спросил он себя. – Обязан каждый член партии в момент революции носить оружие? Да, конечно, обязан… Значит, и Арсений Иванович, и доктор Берг, и я, и тысячи таких, как и я, – лжецы и трусы… Но ведь мы не лжецы… Ведь я не лжец и не трус… Я-то ведь знаю, что я не трус… Я ведь знаю, что могу быть солдатом… да, да, да… именно, незаметным солдатом партии. Я-то ведь знаю, что каждый из нас готов умереть… Нужно партией управлять? Нужно. Значит, и Арсений Иванович, и я, и Вера Андреевна, и доктор Берг делаем хорошее и умное дело. Но что же мы делаем?… Разве не правда, что мы призываем к убийству и сами не убиваем? Разве не правда, что мы говорим, говорим, говорим, а как до дела дойдет, где мы? И разве разговаривать значит руководить?… – покачиваясь

в такт поезда и чувствуя, что запутался в мыслях, мучительно думал Болотов. – Но тогда Арсений Иванович, и я, и доктор Берг – лжецы, и нас надо выбросить вон, как негодный ни на что сор, дать нам волчий билет…»

– Ваш билет, – раздался заспанный голос. Сонный кондуктор, с фонарем на поясе, прощелкнул маленький желтый кусок картона и, возвращая его, сказал:

– В Москву едете? Как бы греха не вышло.

– А что?

– Да дай Бог доехать. Говорят, пошаливают в Москве.

Поезд остановился. Двери были открыты, и из коридора тянуло морозом. На шапке, пальто и на сапогах кондуктора налип тающий снег: должно быть, метель разыгралась вовсю. На станции слышались голоса, чересчур громкие, звучные в ночной тишине. «Давай третий»… «Дава-ай»… Пискнул далеко впереди паровоз. Поплыли станционные фонари. Болотов, не раздеваясь, бросился на диван.

XII

В Доброй Слободке, у калитки двухэтажного каменного дома купца Брызгалова стояло три человека. Двое были одеты по-русски, третий, болезненный и бледный еврей – в осеннее драповое пальто. Невдалеке от них, шагах в сорока, несколько молодых рабочих, оживленно переговариваясь, возились с извозчичьими санями. Тут же, поперек улицы, валялся негодный хлам: подгнившие доски, срубленный телеграфный столб, желтый, рассыхающийся комод, оконная рама и широкие, звенящие на ветру, куски листового железа. Мороз щипал щеки. Блестел серебряный, выпавший за ночь, неизъезженный полозьями снег. У церкви Воскресения в Барашах звонили к обедне.

Один из молодцов, в полушубке, невысокого роста, скуластый, с калмыцкими, узкими, как щели, глазами и мозолями на иззябших руках, с любопытством следил за тем, что делалось у саней.

– Слышь, Сережа, потеха… Ей-богу, распречь не умеет, – сказал он и засмеялся.

– Распряжет… – лениво заметил Сережа.

– Извозчик ругается… Или пойти взглянуть? – помолчав, возразил первый. Не спеша передвигая ногами, он медленно подошел к кричавшим и ругавшимся людям.

– Ну, чего, товарищи, стали? – возвысил он голос. – Чего?

Дряхлый, в полинялом синем халате, извозчик, кряхтя, тянул к себе седую, тоже дряхлую лошадь. Увидев нового человека, он выпустил вожжи из рук и, кланяясь в пояс, слезливо забормотал:

– Ох-ох-ох… Батюшка… Ваше благородие… Прикажи отпустить… Лошадь-те не моя, вот-те Христос, лошадь хозяйская и сани хозяйские, хозяин-те спросит… Ох-ох-ох… Яви Божескую милость, прикажи отпустить…

– Замолчи, старый хрен!.. А вы что стали? Эй, товарищи, вам говорю!..

Пять или шесть румяных заводских парней и какой-то широколицый малый в овчинном тулупе, смеясь, указывали на тощего господина в пенсне. Господин этот тщетно пытался размотать туго стянутые гужи. Непослушные, тонкие, покрасневшие на морозе пальцы беспомощно хватались за узел, но только крепче связывали ремень. Малый в тулупе закрыл рукавом лицо и фыркнул в кулак:

– Так что вот, значит, они хвалились распречь…

– Экий безрукий какой, руки – как крюки… – с негодованием сказал человек в полушубке, проталкиваясь вперед и быстро и ловко снимая дугу. – Ну, теперь выводи…

Господин в пенсне сконфуженно взялся за вожжи. Разбитая, нетвердая на ноги лошадь, тяжело раздувая боками, понурив голову и опустив шею, сделала два шага и стала как вкопанная. Извозчик, сосредоточенно наблюдавший, как распоряжаются хозяйским добром, порывисто сдернул шап-

ку и с силой бросил ее о снег;

– Пущай… Пропадать… Бери, ребята, бери… И лошадь бери и сани… Чего там?… Ох-ох-ох… Дело ваше такое… Дай вам, Господи!.. Царица Небесная!.. Чтобы, как следует: свобода!..

– И, повернувшись лицом к далекому, поблескивающему на солнце, золоченому куполу, он закрестился трясущимися руками.

– Ваня… – громко позвал Сережа.

Чего?

– Поди сюда, Ваня.

– Зачем?

– В Машковом переулке кто-то идет.

Ваня бросил оглоблю и, увязая по колено в рыхлом снегу, побрел обратно к калитке. Пошептавшись с товарищами, он бегом побежал в Машков переулок. По безлюдному тротуару, не торопясь, шло двое людей. В одном из них, по черной бороде и громадному росту, он сразу узнал Володю. Другой был тоже будто знакомый: высокий и бритый, с голубыми глазами.

– Господи, вы ли это, Владимир Иванович?… А мы вас заждались, – радостно здоровался Ваня, стараясь припомнить, где он видел эти голубые глаза. Болотов протянул ему руку.

– Не узнаете?

– Виноват. Не признал… – смутился Ваня и покраснел.

– Что делаете, ребята? – весело крикнул Володя. – Барри-

каду? Хорошее дело… Будет им на орехи!.. А, Давид, и вы тут? – кивнул он головою еврею.

Давид засуетился и, отвечая за всех, заговорил заикающейся скороговоркой:

– Да, да… баррикаду, Владимир Иванович… Знаете, в Париже, во время коммуны… Ах, и вы с нами, Болотов?… Как чудесно… А, знаете, Владимир Иванович… Ах, как все это чудесно… Мы ведь вчера дрались… Вчера с вечера в Москве баррикады… Революция, Владимир Иванович!.. А в Петербурге что?… Ничего?… Что значит?… Ведь в Петербурге тоже восстание?… Да, так я говорю: ведь вчера, знаете, мы недалеко отсюда, на Чистопрудном бульваре, отбили атаку. Вы не верите? Ей-богу, отбили… Вот спросите Сережу… Теперь я знаю: будет Учредительное собрание, теперь, наверное, будет республика… Как вы думаете, Андрей Николаевич?… Что?…

Та «атака», о которой рассказывал Давид, была атакой только в его сознании. Он искренно верил, что накануне было сражение, окончившееся его, Давида, победой. На самом же деле, когда на бульваре дружинники и случайные прохожие люди – лавочники, извозчики, разносчики, босяки, – торопясь и волнуясь, построили первую в Москве баррикаду и Давид, задыхаясь от счастья, поднял над ней красное знамя, казачий разъезд, из шести человек, на рысях выехал со стороны Маросейки. Заметив баррикаду и на баррикаде вооруженных людей, казаки остановились. Постояв в нерешитель-

ности и переглянувшись между собой, они разом все вместе, точно по пугливой команде, повернули круто назад и, взрывая пушистый снег, ускакали обратно. Вдогонку им, сам не понимая зачем, только потому, что у него в кармане был браунинг, Давид выстрелил много раз, но никого не убил и не ранил. Ему было обидно теперь, что Володя слушает его с неохотой. Хотелось еще говорить, хотелось рассказать Болотову, как он и Сережа смело явились в казарму, как в них стреляли, как они и солдат Габаев шли по двору, как Габаев был потом арестован в Одессе, а они скрылись в Финляндию, разыскали знаменитого Глебова и вступили в его дружину. Но, взглянув на неулыбающееся лицо Володи, он вздохнул и ничего не сказал.

– Работаете? – не глядя на Давида и обращаясь к людям, строившим баррикаду, спросил Володя.

– Работаем, Владимир Иванович… – отозвалось несколько голосов. Малый в тулупе поднял красное, обветренное на морозе лицо, подумал, почесал у себя за спиной и снова фыркнул в кулак. Володя подошел к распряженным саням и проворным, неожиданно легким для его громадного тела, движением шутя приподнял их на аршин от земли. Точно пробуя свою медвежью силу, он секунду их держал на весу и вдруг, размахнувшись, бросил в нагроможденную, уже политую водой и почти обледенелую баррикаду.

– Вот так, – широко улыбнулся он.

Болотов со все возраставшим волнением смотрел на него.

По обезлюдевшей, опустелой Москве, по занесенным ночною метелью улицам, по заколоченным окнам, по запертым наглухо железными болтами лабазам и лавкам, по отсутствию городовых и казачьих разъездов и по этой, строящейся на Чистых прудах, баррикаде он воочию увидел, что в Москве совершается что-то торжественно-важное, что-то такое, что не зависит ни от его, ни от чьей бы то ни было отдельной воли. Он увидел, что не власть партии всколыхнула многолюдную, богатую, деловую и мирную Москву, и петербургские заседания показались ему жалкими и смешными. Он пытался понять и не мог, какая же именно скрытая сила движет теми людьми, которые в Лефортове и в Кожевниках, на Миусах и на Арбате одновременно начали строить баррикады, одновременно решились умереть и убить. И теперь, стоя под лучами морозного солнца, среди не городского белого снега и веселых, здоровых, вооруженных людей, бойко делающих незнакомое и опасное дело, он испытывал счастливое и бодрое чувство. Казалось, что Москва поднялась, как один человек, всей своей веками накопленной русской силой, и сознание новой, тяжкой ответственности, ответственности не перед партией и Арсением Ивановичем, а перед потрясенной революцией Россией, волновало его. И еще казалось, что именно он, Андрей Болотов, – тот избранный вождь, который приведет восставший народ к победе. Он приветливо улыбнулся Ване:

– Как же это вы меня так скоро забыли?

– Безусловно, забыл… – тоже с улыбкой ответил Ваня. – А помните, как вы меня напугали?

– Напугал?

– А то нет?… Я ведь думал, не шпион ли какой?…

Болотов рассмеялся. «Так вот как он понял меня… Разве не все равно?… Разве важно?… Важно, что солнце, что снег, что баррикады и что он и я вместе на баррикаде… неужели вправду на баррикаде? – с изумлением спросил он себя. – Да, я в Москве… И в Москве восстание… В России восстание… И это превосходно… И все превосходно», – почти вслух прошептал он, точно желая проверить, что не спит и что все действительно превосходно. Ему вспомнился доктор Берг. «Ну и пусть он там решает свои дела…» – беззлобно подумал он.

– Вот что, ребята, – громко сказал Володя, – баррикада окончена… Чего без дела толкаться? Вы, Василий Григорьич, покараульте здесь, у крепости нашей, – повернулся он к господину в пенсне. Господин этот все время не спускал с него влюбленно-восторженных глаз. – А мы зайдем на минуту в Брызгаловский двор… А ты кто таков? – заметил он малого в полушубке.

– Я-с?

– Да, ты. Ты откуда взялся такой?

– Я-с?… Я брызгаловский дворник-с…

– Что ж ты тут делаешь? – нахмурил брови Володя.

– Так что дозвольте, ваше благородие, – замялся дворник и робко снял шапку, – уж очень занятно…

– Занятно?

– Так точно.

– Ну, если занятно, черт с тобой, оставайся и карауль.

Володя открыл калитку и быстро прошел во двор. Двор был запущенный, узкий, усаженный молодыми березами. Обремененные инеем пушились голые ветви. На дорожках и на прошлогодней траве великолепным ковром лежал серебряный снег, еще более целомудренно-чистый, чем на уличной мостовой. Когда все собрались. Володя сказал:

– Слышь, ребята, смелым Бог владеет, а пьяным черт качает… Баррикада – дело хорошее, только ведь стоянием Москвы не возьмешь… Нечего ждать, когда начальство пожалует, самим надо жаловать… Вы, Сережа, что думаете?

– Что думаю? Да нечего думать, – закуривая папиросу, ответил Сережа, – нужно делать террор…

– Как? Как? Что значит?… Как делать террор? – заторопился, перебивая его, Давид.

– Как? – нахмурился снова Володя. – Ну, это дело десятое, там видно будет, как его делать… Маузеры у всех? Ладно. А вы, Болотов, с нами?…

Хотя Болотов не знал, куда приглашает его Володя, и не мог бы сказать, что значит делать террор в восставшей Москве, он согласился без колебания. Он чувствовал, что потерял власть над собою, что он послушный слуга Володи, что чья-то высшая, непреложная воля, одинаково владеющая и Володей, и Давидом, и Сережей, и им, толкает его

к чему-то страшному и решительному и что он не в силах не подчиниться ей. И сознание, что он не принадлежит себе, что он – игрушка в чьих-то руках, было приятно ему.

Темнело зимнее небо, и под ногами по-вечернему похрустывал снег, когда они вышли на Чистопрудный бульвар. Они шли по двое в ряд, и оттого, что их было много, и что у каждого было оружие, и что впереди шел Володя, и что кругом молчаливо раскинулась необозримая, темная, восставшая для смертного боя Москва, Болотов испытывал бодрящее чувство своей неистраченной силы и ожидающей его благословенной победы.

XIII

Был шестой час утра, и на дворе была еще ночь, когда Володя остановился у подъезда небольшого деревянного дома в Грузинах. «Здесь», – шепотом сказал он и, нашарив пуговку электрического звонка, позвонил протяжным и долгим звонком. Невыспавшиеся, угрюмые, неотличимые в ночной темноте дружинники несмело жались друг к другу. Было морозно и звездно. Прямо над головой на иссиня-черном декабрьском небе сверкала Медведица. «Зачем я здесь, с ними?» – с тревогой подумал Болотов. Того светлого чувства, которое владело им накануне, он не испытывал более. Даже казалось, что Володя делает ненужное, злое, быть может, вредное дело. Но не было силы уйти. За стеклянною дверью, в сенях, вспыхнул огонь, и толстый, босой, в длиннополом, грязном халате швейцар загремел ключами.

– Кто тут? – недовольным голосом проворчал он, осторожно приоткрывая двери и запахивая халат. Сквозь освещенные стекла Болотов ясно увидел близорукие, ищущие во тьме глаза, опухшее заспанное лицо и взлохмаченную спросонок голову. Сзади на тротуаре кто-то, должно быть Ваня, негромко сказал:

– Кого Бог полюбит, тому гостя пошлет.

– Оглох?… Отворяй!.. – крикнул Володя, и сейчас же один из дружинников, Константин, рыжий, веснушчатый ма-

лый, лет девятнадцати, налег плечом на дверную раму. Дверь подалась, и зазвенели осколки стекол. Швейцар поднял руки. В ту же минуту, не давая ему времени вскрикнуть, Константин навалился всей тяжестью на него и изо всех сил сдавил ему горло. Болотов видел, как напружилось и посинело белое, искаженное испугом, лицо швейцара.

– Связать! – отрывисто приказал Володя. – Константин и Роман Алексеевич! Останетесь здесь. Поваренков и Лейзер – на улице. Никого не впускать! Поняли? Никого! Кто бы ни позвонил – связать!

Согнувшись громадным и гибким телом и стараясь не стучать сапогами, он по-юношески легко взбежал по лестнице вверх. Во втором этаже, направо, была прибита дощечка: Евгений Павлович Слезкин. Володя обернулся к дружине.

– Вот что, – полушепотом сказал он, – ты, Ваня, пройдешь на кухню и станешь у черного хода. Да, смотри, ворона, убью!..

Не ожидая ответа, он позвонил. Стало тихо. В тишине было слышно дыхание многих людей. Теперь Болотов уже знал, знал наверное, что они делают что-то страшное и жестокое. Опять захотелось уйти, – захотелось не видеть того, что будет. Но та же непонятная сила, которой он радовался вчера, удерживала его. И сознание, что он не принадлежит себе, что он бессловесный и послушный солдат, теперь не только не было приятно ему, но вызвало смущение и страх. Казалось, что не Давид, не Володя, не Ваня решили ночью, как воры,

напасть на этот запертый дом, что за них решила дружина, партия, Москва, вся Россия. И еще казалось, что остановиться они не вправе, что их бесславное отступление будет тяжким позором и непрощаемою изменой. И он понял, что не уйдет и беспрекословно, не рассуждая, исполнит все, что ни прикажет ему Володя.

Давид, еще на улице дрожавший как в лихорадке, искоса посмотрел на него и вздохнул:

– Что-то не отворяют?… А?…

Болотов нервно повел плечами. Внизу, в швейцарской, затихли шаги, внезапно погас огонь. Володя позвонил еще раз. В прихожей резко задребезжал заглушенный звонок.

– Кого надо? – прошамкал из-за дверей старушечий голос.

– От генерала! – тотчас ответил Володя.

– От генерала?

– Да… Да… Очень важное… Отворите скорее…

Что-то заворочалось за обитой желтой клеенкой дверью. Заскрипел под ключом замок. На пороге стояла старуха, сморщенная, простоволосая, в ночной белой кофте, должно быть, нянька. Она доверчиво подняла голову, но, увидев толпу вооруженных людей, закрестилась, затопталась на месте и, раскрыв старый, беззубый рот, приседая и кивая тощей косичкой, начала задом отступать от Володи.

Внося с собой запах мороза и неоттаявшие сосульки на бороде и бровях, Володя вошел в квартиру. Поколебавшись секунду, он несильно толкнул закрытую дверь. Дверь вела в

темную, душную, очевидно, жилую комнату. Поискав пальцами по стене, он зажег электричество. Болотов, повинуясь все той же необъяснимой силе, вошел вслед за ним.

Посреди комнаты стоял тяжелый письменный стол. В правом углу, под небогатою образницей, на кожаном широком диване спал человек. Человеку этому на вид было лет сорок. У него были черные с проседью волосы и такого же цвета закрученные кверху усы. Вероятно, он услышал во сне шаги или яркий свет потревожил его. Он лениво полуоткрыл глаза и, как бы не веря тому, что увидел, думая, что все еще снится сон, опять опустил ресницы. Но сейчас же, точно кто-то сзади ударил его по голове, быстрым движением откинул ватное одеяло и потянулся рукой под подушку. Володя схватил его за плечо:

– Попрошу встать.

Человек, стараясь освободить руку, молча, потемневшими, испуганно-злыми глазами, смотрел на Володю. Он не замечал, что Василий Григорьевич целится в него из дрожащего маузера и что у самого уха, в затылок ему, направлен тоже дрожащий револьвер Давида.

– Господин Слезкин? – спросил Володя.

– Да, Слезкин, – чувствуя, что не может освободиться, прерывающимся, густым баритоном произнес человек.

– Полковник отдельного корпуса жандармов Евгений Павлович Слезкин?

– Ну да… Евгений Павлович Слезкин… Пустите руку…

– Попрошу встать.

Полковник Слезкин опустил на ковер одну голую волосатую ногу. Подумав, он опустил и другую, и, сидя так на диване, свесив босые ноги, в одной короткой рубашке, он надтреснутым голосом, но все еще громко, сказал:

– Вам собственно что угодно?

– Узнаете своевременно.

Слезкин стал одеваться. Болотову казалось, что все, что он видит, происходит не наяву и не с ним, до такой степени было странно смотреть на эти чужие голые ноги, на эту обнаженную, красную, с торчащим кадыком шею, на то, как здесь, среди них, незнакомых и враждебных людей, одевается пожилой, вероятно, женатый и семейный человек. «Точь-в-точь как жандармы…» – мелькнуло у Болотова. Лакированных высоких сапог Слезкин без помощи денщика натянуть не умел, и пока он возился с ними, тащил за ушки и, гремя шпорами, стучал пяткою о пол, все неловко молчали. Надев наконец синие с кантом рейтузы и сапоги, он снова сел на диван и, подняв по-детски высоко плечи и беспомощно разводя руками, вздохнул:

– Что же это такое?…

– Где ваш револьвер? – строго спросил Володя.

– Револьвер?… – Слезкин провел рукою по лбу. – Под подушкой револьвер…

– Сядьте сюда, за стол.

Слезкин не двигался.

– Прошу сесть за стол.

– За стол?… За стол?… Нет… Нет… Я не хочу за стол… – провожая глазами Володю, едва слышно пролепетал он и дернул шеей.

– Господин Слезкин.

– Нет… Нет… Ради Бога, нет… Я не сяду…

Болотов видел, как Давид приставил к стриженому седому виску револьвер. Он видел, как тряслись у Давида пальцы и как у Слезкина, у носа и около скул, проступили багровые пятна и задрожала нижняя челюсть. Давид, не опуская револьвера, заговорил быстро, заикаясь и глотая слова:

– Что значит?… Если вам велят, то есть приказывают, то вы обязаны садиться, куда сказано, то есть куда велят…

Володя поморщился:

– Господин Слезкин!

Слезкин встал и, с усилием волоча ноги, опустился в низкое плетеное кресло. Сев за привычный письменный стол, по привычке спиною к двери, увидев на привычных местах привычно знакомые, всегда одни и те же предметы: сафьянный черный портфель, чернильницу, пресс-папье в виде подковы, он внезапно притих и, стараясь быть твердым, сказал:

– Что же вам, наконец, нужно?…

– Узнаете своевременно… – Володя отвел револьвер Давида. – Вот что, господин полковник, Евгений Павлович Слезкин, даю вам пять минут сроку…

Володя не кончил. Слезкин с минуту остановившимися

глазами в упор смотрел на него, и вдруг, не отрывая глаз от лица Володи, медленно приподнялся с кресла, и также медленно, прямой, высокий и белый как скатерть, начал пятиться задом к дверям. Пятясь, он постепенно подымал руки, точно прося пощады, и, подняв их до уровня плеч, закрывая лицо, широко расставил толстые пальцы. И тут Болотов услыхал то, чего долго потом не мог забыть, что долгое время спустя заставляло его в холодном поту, ночью, вскакивать с койки. Он услышал прерывистый стонущий заячий лай. Было невозможно поверить, что эти визгливые, непохожие на человеческий голос звуки выходят из горла вот этого крепкого, пожилого, в синих рейтузах и белой рубашке, человека. Слезкин, не опуская поднятых пальцев, и все так же не отрывая глаз от Володи, и все так же пятясь назад, и все так же визгливо лая, шаг за шагом отступал в угол, как будто в углу было его спасение. Болотов отвернулся.

Но внезапно, заглушая этот заячий лай, из прихожей поднялся и, наполняя низкие комнаты, повис в воздухе другой, еще более неожиданный звук: пронзительный женский щемящий вопль. И, расталкивая дружинников и кидаясь грудью на них, в комнату ворвалась женщина, с нездоровым цветом лица, полная, в папильотках, видимо, прямо с постели. Не умолкая ни на минуту, не понимая, что с ней и что она делает, зная только, что ее муж умирает, она бросилась на колени и, ловя ноги то Володи, то Сережи, то Болотова, хватаясь за них и целуя их сапоги, снова целуя и захлебыва-

ясь от плача, повторяла одно, лишенное смысла, слово:

– Спасите!.. Спасите!.. Спасите!..

Болотов видел, как Василий Григорьевич уткнулся носом в занавески окна и как Давид, отшвырнув свой револьвер и закрыв руками лицо, выбежал вон. Володя, бледный от гнева, решительно подошел к женщине. Он поднял ее на руки, как ребенка, и угрюмо забормотал:

– Успокойтесь, сударыня… Успокойтесь… Женщина продолжала биться. Ее полное мягкое тело в длинной ночной сорочке сотрясалось от плача. Вырываясь из твердых объятий Володи, она, забыв все другие слова, выкрикивала одно и то же, подсказанное отчаянием, слово:

– Спасите!.. Спасите!.. Спасите!.. Спасите!.. Болотов почувствовал, что не может больше молчать и что у него сейчас брызнут слезы. Боясь этих слез, он повернулся к Володе:

– Пощадите его…

Володя ему не ответил. Крепко держа женщину на руках и зажимая ей рот платком, он быстро, уверенным шагом, вышел в прихожую.

– Прозевали! – сквозь зубы сказал он. – Вороны!

Слезкин стоял теперь в левом углу, у двери. Он стоял неподвижно, плотно прижавшись спиною к стене и не говоря ни слова. Сухими, блестящими, неестественно расширенными глазами он по-прежнему беспокойно следил за Володей, не пропуская ни одного его шага, ни одного движения его больших рук. Володя, вернувшись и заперев двери на ключ,

со вниманием, пристально взглянул на него и отчетливо и громко сказал:

– Ну-с, господин Слезкин, по постановлению московской боевой дружины вы приговорены к смертной казни… через повешение, – понизив голос, прибавил он. – Эй, кто там?… Веревку!..

Никто не пошевелился. Володя нахмурился. Болотов, чувствуя мелкую, неудержимую дрожь в ногах, пониже колен, опять подошел к нему:

– Владимир Иванович…

– Чего?

– Владимир Иванович…

– Ну, чего?

– Пощадите, Владимир Иванович…

– Как? Жандармского полковника Слезкина? Пощадить?… Эх вы… Так зачем было петрушку валять?… Зачем?… Тьфу!..

– Пощадите, Владимир Иванович…

Слезкин не шелохнулся, точно не за него просил Болотов. Он все так же, не отрываясь, в упор смотрел на Володю. Лицо Володи перекосилось. На правой щеке под густою черною бородой, около сжатого рта, запрыгали судороги. И, не глядя на Болотова, он хриплым голосом крикнул:

– Убирайтесь все к черту! Все!..

Болотов, не помня себя, вышел из комнаты. В прихожей не было никого. Только у выходных запертых на цепочку

дверей с бесстрастным лицом и с браунингом в руке дежурил незнакомый Болотову рабочий. Когда Болотов поймал его равнодушный, почти скучающий взгляд, ему стало страшно. Он понял, что Слезкин неизбежно будет убит, что нету той власти, которая бы могла спасти его жизнь. «С нами не поминдальничают, за ушко да на солнышко… – неожиданно вспомнил он. – В самом деле, незачем было петрушку валять… Ведь этот Слезкин – мерзавец, ведь он перевешал десятки, ведь у него нет совести, как у зверя…» – ища оправдания, подумал он, но думать дальше не мог. Кто-то, всхлипывая, рыдал в углу. Закрывшись жандармской шинелью, весь мокрый от слез, в прихожей за вешалкой притаился Давид. Незнакомый дружинник взглянул на него и презрительно скривил губы.

В комнате Слезкина, кроме Володи, остался один Сережа. Когда Болотов вышел, он тронул Володю за рукав и тихо сказал:

– Бог с ним, Владимир Иванович…

Володя задумался. Опустив голову и расставив широко ноги, он думал секунду. Сережа закрыл глаза. Вдруг Володя дернул вверх головою.

– Трусы! Все трусы!.. – пробормотал он, и, избегая глаз Слезкина, незаметным проворным движением выхватил из кармана маленький тускло-синий револьвер, и, сжав зубы, почти не целясь, выстрелил в угол. Комната густо наполнилась клубами едкого дыма. На ковре, закинув высоко голову

и опираясь затылком о стену, лежал смертельно раненный Слезкин.

XIV

Когда Давид вышел на улицу, уже рассвело. Утро было ненастное. Хмурые, низкие облака холодной мглой нависли над городом, над белыми крышами и голыми фабричными трубами. Снег не хрустел под ногами, а вился мутными хлопьями и налипал на подошвы, сырой и скользкий. Опустив голову и поеживаясь в своем осеннем пальто, Давид торопливо, без цели, шагал по бульварам по направлению к Замоскворечью. Раушская набережная была пустынна, точно вымерла вся Москва. На другом берегу реки, за Каменным мостом, в белых летучих хлопьях тонули зубчатые Кремлевские стены. После бессонной ночи в жандармской передней, после плача, криков и суеты, после властных приказаний Володи казались новыми и неожиданно странными и эта вялая тишина, и этот мокрый, забивающийся за иззябшую шею, снег, и это нависшее небо, и туманный купол Христа Спасителя. Но страннее и неожиданнее всего было равнодушие прохожих: никто не знал, да, может быть, и не хотел знать, что случилось что-то ужасное, что убит человек, Евгений Павлович Слезкин, и убит именно им, Давидом.

На Балчуге, возле единственного незапертого лабаза, заполняя всю улицу, растянулись громоздкие, покрытые заскорузлой рогожей возы с мукой. Сытые кони, тяжеловозы, опустив заиндевелые шеи и подрагивая боками, понуро стоя-

ли в снегу. У коней также понуро стояли извозчики, тоже заиндевелые и замерзшие, ожидая очереди, чтобы проехать во двор. Один из возов застрял у ворот, и лабазные молодцы в холщовых передниках подталкивали его и ругались. На истоптанном грязном пороге стоял рыжебородый хозяин и, глядя на них, тоже ругался. Давид остановился перед лабазом. Он с тупым любопытством смотрел на однообразную вереницу нагруженных мукою возов, на залепленных снегом людей, на рыжебородого ругающегося купца, точно действительно было важно узнать, как протиснутся застрявшие сани во двор. И когда наконец, поскрипывая полозьями, сани скрылись в воротах, и за ними медленно тронулся весь тяжелый обоз, и приказчики, притоптывая ногами, разошлись по лабазу, Давид долго еще стоял неподвижно и все так же тупо смотрел на опустевшую улицу и железные болты лавок. Он очнулся от холода. Лицо его было мокро, и нестерпимо мерзли красные, закоченевшие руки. Засунув их глубоко в карманы и подняв воротник пальто, он быстро перешел Каменный мост. На Волхонке он споткнулся о занесенный снегом бочонок – о совсем готовую, заледенелую баррикаду, оставленную дружиной, – и чуть не упал. Потерев ушибленное колено, он свернул в переулок, но за углом была выстроена другая, невидимая с улицы, баррикада, и на ней трепалось красное знамя. Из-за вала кто-то окликнул его.

Давид мельком взглянул на знамя и, махнув рукою, повернулся на каблуках и побрел назад к Боровицким воротам.

Его сейчас же догнал какой-то молодой с задорными глазами дружинник, подпоясанный извозчичьим гарусным кушаком. Он, запыхавшись, подбежал к Давиду и, дыша ему в щеку, заглянул прямо в лицо. Давид приостановился и, покраснев, с глазами полными слез, забормотал, заикаясь:

– Что значит?… Сегодня ночью… начальника охраны… убили…

Чувствуя, что сейчас зарыдает, и отчаянным усилием воли сдерживая себя, он визгливым фальцетом крикнул:

– А убил его я!..

Потом, приподняв для чего-то свою студенческую фуражку, он, не оглядываясь, бегом побежал к Кремлю. Молодой рабочий с недоумением пожал плечами, сплюнул и лениво поплелся на баррикаду.

Снег, не утихая ни на минуту, белыми мутными хлопьями засыпал улицы, тротуары, деревья, церкви, дома, баррикады дружинников и Давида. В Александровском саду он глубоким ковром замел все дорожки. Давид присел на скамейку и с тем же тупым любопытством, с каким смотрел на обоз, стал рассматривать летающие снежинки. Они неслышно падали ему на плечи, на руки, на колени, и, когда их скоплялась большая груда, он осторожно, одним пальцем, стряхивал их на землю. Он не мог бы сказать, сколько времени он так просидел. Его знобило. Он не думал ни о чем – ни о Слезкине, ни о восстании, ни о Володе. Он видел снежные хлопья, каменную стену Кремля и в лихорадочном забытьи считал за-

медленные удары на Тайницкой башне. Но вдруг с тою же беспощадной отчетливостью, как и вчера, в ушах неожиданно зазвенел знакомый пронзительный заячий крик, тот крик, которому он был не в силах поверить, хотя и слышал его. «А-а-а-а-а…» – замычал он и схватился за голову. «А-а-а-а-а…» – повторил он, сжимая до боли виски. Его фуражка свалилась в снег, но он не поднял ее. Он ясно видел перед собой потемневшие, немигающие, остановившиеся глаза. Он встал и, не опуская рук, в расстегнутом мокром пальто, без шапки, побрел на Арбатскую площадь. На площади, у Арбата, валялись обломки раскиданной баррикады и потрескивал на углу веселым огнем костер. У костра грелись люди в темных шинелях. Их было много. Давид, опять почувствовав холод, не понимая, где он и что это за люди, пошел прямо на них, к огню.

– Кто идет? – услышал он хриплый окрик. Он не понял его и только ускорил шаги, но что-то острое, твердое загородило ему дорогу. Перед ним стоял невзрачный солдат в башлыке, навернутом на уши, и в неуклюжих засыпанных снегом сапогах. Продолжая держать винтовку наперевес, он низко нагнулся к Давиду и тотчас, вытягиваясь, как на параде, сказал заученным голосом:

– Так что жида поймал, ваше благородие. – Несколько человек в таких же обмотанных кругом головы башлыках и в серых шинелях окружили Давида. У всех были в руках винтовки, и все, недружелюбно и откровенно, разглядывали его.

Подошел молодой, с бледным и хмурым лицом и с родинкой на щеке, офицер и тоже недружелюбно, с ног до головы, осмотрел Давида. Солдат весело повторил:

– Так что жид, ваше благородие.

– Обыскать! – сказал офицер и брезгливо поморщился.

И сейчас же Давид почувствовал, как по его телу, по спине, по груди и под мышками зашарили чужие и грубые неловкие руки. От их прикосновения стало как будто еще холоднее. Давид съежился и глубоко спрятал лицо в воротник.

– Револьвер, ваше благородие.

Давид не сознавал, что именно с ним происходит. В ушах, мешая думать и понимать, все еще звенел заячий лай. Почему-то Давид был твердо уверен, что обыскивают его по недоразумению, что недоразумение скоро рассеется и что его, конечно, отпустят. Он не мог поверить, что его, свободного человека, который только что свободно ходил по Москве и свободно мог выехать в Петербург или за границу, его, Давида, здесь, на Арбате, силою задержали какие-то неизвестные люди и что эти люди вправе сделать с ним все что угодно. Это было до такой степени нелепо и непонятно, что он не почувствовал ни беспокойства, ни страха и равнодушно следил за шарившими по его телу руками. Один из солдат, черноусый ефрейтор, толкнул его легонько прикладом:

– Ну, айда… Марш!

Четверо вооруженных людей, с такими же бесстрастными лицами, как у того дружинника, который дежурил в при-

хожей у Слезкина, повели его вверх по Арбату. Он шел послушно, по привычке размахивая руками. Только теперь он заметил, что потерял шапку. Его русые волосы мокли. По дороге он думал, что без шапки легко простудиться, и напрасно напрягал ослабевшую память, чтобы припомнить, где ее обронил. Только когда солдаты остановились возле казенного грязного здания в незнакомом ему переулке, он понял, что его ведут в полицейскую часть. В первой, холодной, с казарменным запахом комнате у дверей стояло два часовых и, согнувшись на лавочке, дремал старый с серебряными медалями околоточный надзиратель. Пока он ходил с докладом, Давид лениво осматривал комнату. Под ногами его, на полу, расползалась черная лужа талого снега.

Через минуту надзиратель вернулся. Опять кто-то толкнул Давида в плечо. В светлой, просторной комнате с забеленными окнами, за казенным красным столом, под портретом царя в гусарском мундире, сидело два офицера. Один из них, обрюзгший толстый полковник с длинными седыми усами что-то быстро писал. Другой, помоложе, с адъютантскими аксельбантами на груди, просматривал какие-то розовые бумажки. Давид стоял у дверей, рядом с околоточным надзирателем. В комнате было тепло, в левом углу трещали в печке дрова, и он с удовольствием чувствовал, как отогреваются его мокрые, озябшие пальцы. Прошло долгое время, пока полковник поднял наконец голову и, прищурясь, устало посмотрел на него. Адъютант наклонился и что-то почти-

тельно зашептал.

– Да, да… конечно… конечно… – сказал полковник, не глядя на адъютанта, и, обращаясь к Давиду, строго, барским ворчливым басом спросил:

– Твой это револьвер?

Давид ничего не ответил.

– Ты из него стрелял? – сказал полковник и положил белую, в кольцах руку на браунинг. – Фамилия?… Отвечай, когда я тебя спрашиваю.

Но Давид, если бы и хотел, уже был не в силах ответить. Внезапно, с беспощадною точностью, с той нерассуждающею уверенностью, которая исключает ошибку, он понял, что его ни за что не отпустят и что не по недоразумению он здесь. Он понял, что для полковника, для адъютанта, для задержавших его солдат, для полицейского надзирателя, который мирно дремал на лавке, для этих голых казарменных стен он не живой человек, Давид Кон, с прекрасной и бессмертною жизнью, а бездушный номер, никто, один из тех безымянных людей, которых десятками арестуют, вешают и ссылают в Сибирь. Он понял, что полковник его не поймет, – не сможет и не захочет понять, что нет его вины в том, что восстала Москва, что строятся баррикады и что убит жандарм Слезкин. Он понял, что его будут судить и осудят единственно по уликам, – но лживым и нестоящим мелочам. И он вспомнил, что стрелял на Мясницкой и что этого скрыть нельзя, потому что револьвер закопчен и в обойме недостает пяти пуль.

И как только он это вспомнил, он уже знал, знал не разумом, а всем своим слабым, продрогшим и утомленным телом, что сегодня, сейчас, через десять минут, вот в этом полицейском участке, в этой казенной комнате, произойдет что-то страшное, что-то такое, чего с ним никогда еще не бывало, что не должно и не может быть, что будет более ужасно, чем даже крик и смерть Слезкина. И неожиданно для себя он затрясся всем телом мелкой, трепетной, все нарастающей дрожью. Он хотел унять эту дрожь, но зубы не повиновались и громко стучали, и тряслась челюсть, и пальцы прыгали по груди. Адъютант опять наклонился к полковнику. Полковник еще раз взглянул на Давида и кивнул одними глазами.

Давид плохо понимал, что с ним было дальше. Он заботился и думал только о том, как бы остановить противную, малодушную дрожь. Как сквозь сон он увидел, что он снова в сенях, что его опять окружают солдаты, и понял, что его выводят во двор. Мелькнули хлопья мутного снега, серые шинели, желтая, истрескавшаяся стена и бритое лицо адъютанта. Сухой и жесткий, горячий комок подкатился к горлу. Давид зашатался, но кто-то сзади бережно поддержал его. Пришел он в себя уже у стены, с завязанными руками. В десяти шагах темнело что-то неясное, чего он не мог различить. Он понял, однако, что это солдаты. Справа от них, сгорбившись, стоял офицер. И тут на мгновение, на короткий, как молния, миг, Давиду стало вдруг ясно, что этот снег, эти винтовки, этот кусочек хмурого неба, этот бритый, с твердым

лицом адъютант именно и есть то неведомое, что называется смертью и чего он боялся всю жизнь. Дрожь сразу утихла. Он поднял вверх голову, но сейчас же опять опустил: снег, падая, щекотал щеки и забивался за ресницы, в глаза. Больше он уже ничего не увидел. Блеснуло желтоватое пламя. На том месте, где только что стоял у стены Давид, беспомощно свернулось жалкое, скорченное, никому не нужное тело. Снег валил не переставая.

XV

На улицах Москвы уже много дней происходило сражение, и исход его колебался. Ни одна из враждующих армий – ни правительство, ни революционеры – не осмеливалась перейти в открытое наступление. Те несколько сот московских рабочих, приказчиков и студентов, которые строили баррикады, не были в силах ни завладеть Китай-городом и Кремлем, ни заставить войска положить оружие. Но и те немногочисленные полки, на которые правительство могло положиться, усмиряли восстание вяло и неохотно, отбывая казенную, обременительную повинность. Торговая и деловая Москва, Москва биржи, банков, амбаров и лавок, миллионный город купцов и попов, не участвовала в сражении. Она растерянно выжидала, на чьей стороне будет победа, то есть твердая власть. Войска разрушали и жгли покинутые дружинами баррикады, но при первых же выстрелах в беспорядке возвращались в казармы. Вместо разрушенных баррикад дружинники строили новые и легко, без борьбы, оставляли их, когда видели, что силы не равны. В конце недели по Москве прошел слух, что из Петербурга по Николаевской незабастовавшей дороге прибывает царская гвардия. Стало ясно, что одинокое, бессильное, нерешительное восстание должно погаснуть так же быстро, как вспыхнуло.

Но ни умиравшие на баррикадах дружинники, ни прита-

ившиеся в страхе чиновники и купцы, ни те министры, которые посылали Семеновский полк, ни сами «семеновцы» не видели этого. Им казалось, что восстала вся Москва, вся Россия, и только что, истощив последние средства ценою бесчетных жертв, можно залить бушевавший пожар – всероссийскую, великую, победоносную революцию. Так думал и Болотов. Он сражался без отдыха уже вторую неделю. Не наступая, но и не избегая столкновений с войсками, дружина Володи медленно описывала дугу вдоль Садовой, от Чистых прудов, через Сретенку, Драчевку и Самотеку, к Пресне! Она, естественно, как перед охотником зверь, отодвигалась перед сильными отрядами войск к той части Москвы, которая всецело была в руках революционеров. Брошенные ею и разрушенные казаками баррикады немедленно восстановлялись другими дружинами. Эти дружины точно так же, как и она, двигались по Москве без цели и руководящего плана, то приближаясь к Кремлю и давая сражения у стен Страстного монастыря, то отступая опять в удаленные окраины города. За эти дни число дружинников возросло, но это не был тот стремительный и могучий рост, который знаменует собой народную революцию. У Володи было теперь до тридцати человек, почти сплошь заводских рабочих. В этой вооруженной толпе затерялся и приставший в первый же день восстания брызгаловский дворник Пронька. Этот Пронька, широколицый, веселый малый, с громадными волосатыми кулаками, плохо понимал, кто сражается и зачем. Если бы Бо-

лотов заговорил с ним о республике, об Учредительном собрании или социализме, он бы, почесав в затылке и ухмыльнувшись, ответил, что это не его, а барское дело и что господам лучше знать. Но, пристав случайно к дружине, он уже не мог оставить ее. Он видел, что дружинники убивают начальство, а так как всякое начальство, начиная с городового и кончая министром, казалось ему самозваным и противоестественным злом, то он и считал, что они делают хорошее и полезное дело. Кроме того, ему было необычно и потому весело – «занятно», как он говорил, – бродить с револьвером по безлюдной Москве, ломать гнилые заборы, переворачивать вагоны трамваев, рубить столбы и деревья, охотиться на казаков и своим длинноствольным маузером неизменно повергать в ужас сердобольных купчих Хамовников, Лефортова и Плющихи. Сперва дружинники смотрели на него косо, как на чужого, случайного человека. Но однажды Пронька, по приказанию Володи, взялся через линию войск прошмыгнуть на Тверскую и там, по записке, получить в комитете пятьсот рублей. Он действительно, без обмана, побывал на Тверской и принес все, до последней копейки, деньги. С этого дня он стал товарищем, неоспоримо полноправным дружинником. Когда прошел слух, что из Петербурга в Москву выслана гвардия, только один Володя понял истинное значение этого слуха. Он понял, что восстание раздавлено, что Семеновский полк без труда сметет зыбкие, боязливые баррикады и что дешевая победа его будет смертельным ударом

для революции. И он решил во что бы то ни стало помешать «семеновцам» приехать в Москву и, не видя другого исхода, попытался взорвать полотно железной дороги. Не ожидая ничьих дозволений и не спрашивая ничьих советов, он уехал с этой целью в Тверь. Командование дружиной он передал не Болотову, а Сереже.

За эту неделю Болотов изменился так, что Арсений Иванович наверное бы его не узнал. Он похудел, его голубые глаза ввалились, и побледневшие, неумытые щеки обросли густой и жесткой щетиной. Ватное, щегольское пальто, в котором он приехал из Петербурга, разорвалось в клочки в первый же день, когда пришлось отдирать от брызгаловского забора доски, таскать на плечах пустые бочонки и перерезывать телефонные провода. Кроме того, в пальто ему было неудобно и тяжело. Он скинул его, надел полушубок и подпоясался кушаком. На ногах у него были валенки. Первый раз в жизни он узнал не из разговоров и не из книг, что такое восстание, баррикада, убийство и смерть. Он с удивлением увидел, что все это гораздо проще, обыденнее и легче, чем пишут в романах, но зато и гораздо страшнее. Первый раз в жизни он узнал также то, что обыкновенно называют лишениями и что всегда казалось ему отяготительным и несносным. Он узнал, что значит не есть двое суток подряд, не умываться и спать не раздеваясь где-нибудь на задворках в нетопленом, нежилом сарае. Но непривычное ощущение голода, холода и грязного тела не только не смущало его, но

даже было приятно. Он с детскою гордостью рассматривал свои изрезанные, в мозолях, руки, и ему было радостно сознавать, что он такой, как и все, как Ваня, Константин или Пронька, и что он может исполнить какую угодно работу, как бы она ни была черна: может нарубить дров, натаскать на морозе воду для баррикады или раздуть потухающий на ветру костер. Он с удовольствием замечал, что дружинники постепенно привыкают к нему, постепенно перестают видеть в нем барина, члена неуловимого комитета, те белые руки, которые не знают труда, и он старался еще теснее сблизиться с ними. Это было не искусственное, хорошо знакомое сближение пропагандиста с учениками, не та поверхностная, словесная связь, которая зарождается от келейного чтения брошюр и разговоров «о положении рабочего класса», о «деспотизме» и об «эрфуртской программе». В рабочих кружках, среди полуграмотных заводских парней, он чувствовал себя навязчивым пришлецом, незваным школьным учителем, а не другом и не товарищем. Здесь, на баррикадах в Москве, когда все одинаково несли тяжкий труд, все одинаково мерзли, голодали и подвергались опасности, мало-помалу стерлась эта обидная грань, и он незаметно для самого себя стал неотделимою, не менее ценною, чем всякий другой, частью рабочей дружины. В первые наивные дни баррикад он искренно верил, что наступит час, когда именно он, многоопытный революционер Андрей Болотов, поведет за собою народ. Но чем ярче разгоралось восстание, тем ничтожнее казались эти

самоуверенные мечты. Он увидел, что в Москве нет начальства, что если завтра погибнет Володя, баррикады не опустеют и не прекратится братоубийственная неистовая, не Володей объявленная война. Он увидел, что «вести за собою народ» смешно и не нужно и что об этом можно разговаривать в комитете, но здесь, когда на улицах идет бой, эти праздные мысли лишены значения и силы. Он не только понял, но и на деле узнал, что нет таких слов, которые могут заставить людей убивать, если они этого не хотят, и нет той власти, которая может запретить умереть, если человек бесповоротно решил отдать свою жизнь. Из дружинников его внимание привлекали три человека: Василий Григорьевич, фармацевт по образованию и по фамилии Скедельский, которого ему было жаль, – жаль за узкие плечи, за слабосильные руки, за землистый цвет впалых щек и за безличную покорность не только Володе, но каждому из товарищей, даже Проньке; девятнадцатилетний, веснушчатый и кудреватый мальчишка, слесарь Константин, который удивлял его своею бесшабашною, чисто русскою удалью, и пожилой ткач Роман Алексеевич. Роман Алексеевич говорил и стрелял очень редко, но когда стрелял, то не тратил «зря» драгоценных зарядов, и сердился на Проньку за то, что Пронька не умеет стрелять. При отступлении Роман Алексеевич последний уходил с баррикады и, как бы ни был силен огонь, не забывал захватить с собой знамя. Болотов не мог бы сказать, почему после убийства Слезкина он не расстался с Володей, но он знал, что дела-

ет хорошо, что не следует расставаться и что в чем-то будет неправда, если он уйдет из дружины. Та первородная, кровная связь, которую он почувствовал на первой же баррикаде, связь не только с Володей, но и со всей восставшей Москвой, та сила, которая привела его к дому Слезкина, то сознание ответственности, которое овладело им в эту ночь, подсказали ему его решение. Но осмыслить это решение, уразуметь его скрытый источник он при всем желании не мог.

В субботу 9 декабря дружина, под командой Сережи, оставляя свои баррикады на Миусах, отошла за Пресненские пруды и заняла Глубокий, Верхний и Нижний Предтеченский переулки, отгораживаясь цепью небольших баррикад от Прудовой и Пресненских улиц. Правым крылом она упиралась в обсерваторию, левым – в церковь Иоанна Предтечи. Сзади себя, в тылу, она укрепила двухэтажный домик городского училища, забаррикадировав все окна и двери и поставив своих часовых. Миусские, покинутые ею, баррикады немедленно заняла соседняя с нею дружина студентов межевого института и университета. Со стороны Миус долетали нечастые револьверные выстрелы.

– Ишь ты, господа студенты палят… – подмигнул одним глазом Пронька и громко захохотал.

– Нечего на чужую поветь вилами указывать, – сурово возразил Константин, вскарабкиваясь на баррикаду и укрепляя красное колеблющееся и хлопающее на ветру знамя. День был бессолнечный, но морозный. Снег вздымался сухою пы-

лью и колючими иглами кружился по воздуху. Константин потоптался на баррикаде, спрыгнул вниз, окинул взглядом крутой и скользкий, обледенелый вал и промолвил с гордостью, любуясь своей работой:

– Ладно… Не страшны лягушке никакие пушки…

Шагах в пятидесяти за баррикадой, почти у крыльца городского училища, дружинники разложили костер. Около баррикады остались одни часовые. По ее валу уныло взад и вперед шагал Пронька, изредка останавливаясь и с нескрываемой завистью поглядывая на потрескивающий огонь. Вдруг он насторожился, обернулся лицом к Прудовой улице, несколько секунд постоял неподвижно и весело крикнул:

– Казачишки приехали!

Болотов привык к этим ежеминутным, скоропреходящим тревогам. Он вскочил на ноги и, вынимая на ходу заряженный маузер, побежал к баррикаде. Пронька был уже на земле и, вытягиваясь на цыпочки и цепляясь одною рукою за вал, другою указывал вдаль Сереже. На Конюшковской улице, за Пресненскими прудами, четко видные с баррикады медленно, верхом подвигались драгуны в грязно-бурых шинелях, с винтовками наготове. Болотов стал считать. Драгуны по трое в ряд огибали пруды и мелкою рысью направлялись к обсерватории. Болотов насчитал девяносто шесть человек.

– Безусловно двухсот шагов не будет… – заметил Ваня, прищуривая глаз. – Из маузеров хорошо бы хватить.

– Пущай ближе доедут… – сумрачно возразил Роман Алексеевич и закашлялся сухим, чахоточным кашлем.

– Вот… глянько-ся… глянь… Его благородие господин офицер… – опять захохотал Пронька, тыкая пальцем на конного офицера, который, оставив своих людей, один, на вороной лошади, выезжал в улицу. – Ах, шут те дери… Какой прыткий, скажи на милость… Сергей Васильевич, дозвольте стрельнуть… – улыбаясь, попросил он Сережу.

Сережа не отвечал, пристально разглядывая драгун.

Обогнув пруды, они начали спешиваться. Пронька нетерпеливо мотнул головой:

– Сергей Васильевич, ведь, ей-богу, же в самый раз…

Болотов посмотрел через плечо Проньки. Ему показалось, что не следует терять ни минуты, – что именно сейчас, когда драгуны слезают с коней, удобно и нужно открыть огонь. Он уже привык хладнокровно, без волнующей радости, видеть войска и ждать их атаки. Он был уверен заранее, что никакая пехота в Москве не устоит против огня баррикады и что никакой офицер не сумеет принудить солдат идти на бессмысленную и несомненную смерть. Быть может, поэтому в нем давно зародилось и выросло волчье, охотничье чувство, то чувство, которого он раньше не знал и которого втайне стыдился. По напряженному лицу Проньки, по его блестящим глазам и, главное, по сосредоточенному молчанию дружины он видел, что это чувство владеет не только им, но что все с нетерпением ожидают приказа Сережи, чтобы начать стре-

лять и, если удастся, убить именно офицера. За себя Болотов не боялся. Ему и в голову не приходило, что его могут ранить или убить: за долгие дни восстания дружина, не считая Давида, потеряла только одного человека, да и то случайно, единственно потому, что он вышел на улицу и стал стрелять без укрытия, на виду у солдат. Сережа молчал, точно испытывая послушание дружины. Наконец, он нехотя отдал команду:

– Раз… Два… И… пли!

Он не успел произнести последнего слова, как Пронька и Константин, угадывая его разрешение, одновременно выстрелили из маузеров. И сейчас же наперебой затрещали все револьверы и винтовки дружины. Болотов тоже стрелял. Он выбрал себе усатого рыжего вахмистра, первого в первом ряду, и стал целиться долго и тщательно, стараясь точно рассчитать расстояние и попасть непременно в цель. Он не думал о том, что целится в человека. В эту минуту вахмистр был для него не человек и даже не враг, а тот неодушевленный предмет, та мишень, в которую он обязан стрелять и в которую промахнуться нельзя. Когда он спустил наконец курок, и потом, когда рассеялся дым, он увидел, что драгуны поспешно вскакивают на лошадей и что вахмистр не ранен. Вскочив в седла, толкаясь и расстраивая ряды, они галопом поскакали обратно. Вся дружина короткими, уже безвредными залпами стреляла им вслед. На расплющенном, утоптанном копытами, снегу осталось два человеческих тела, и

тут же, около них, породистая вороная лошадь, задрав морду, подпрыгивала на трех ногах, странно сгибая четвертую, переднюю, перебитую выше колена. Константин торжествующе крикнул:

– Братцы, а офицер-то убит… Ей-богу… Сбегаю посмотрю… – Он проворно перескочил через вал и, не обращая внимания на остановившихся за Пресненскими прудами драгун, не торопясь пошел к убитым солдатам. Пронька грудью перевесился через баррикаду и тоненьким голосом испуганно закричал:

– Кенсентин, вернись!.. Вернись, Кен-сен-тин…

Болотов вернулся обратно к костру.

XVI

Вечер прошел спокойно: драгуны больше не тревожили баррикады. Дружина на ночь отошла в городское училище и заняла классы. В неуютной, некрашеной комнате, на полу, среди ученических парт, храпели дружинники. Было душно. Тускло, чадя керосином, мерцала лампа. Пахло махоркой, потом и влажной овчиной, – запахом нераздетых, спящих в тулупах людей. Болотов не мог спать. В третьем часу он не выдержал, встал и, шагая через товарищей, вышел на улицу.

К утру мороз окреп. Вызвездило. Большая Медведица сильно склонилась к востоку и опустила свой звездный хвост. На темном валу баррикады застыла тоже темная, недвижимая тень: на часах стоял Константин. Костер догорел, но дрожащее, тощее, голубоватое пламя, все еще не сдаваясь, боролось с ночью. У костра, на корточках, обняв колени руками и не сводя глаз с багровых углей, сидел Сережа. Огонь, вспыхивая, освещал его руки и смазные мужицкие сапоги. Плечи, грудь, лицо и белокурые волосы были черны и тонули во тьме. Болотов подошел к нему. Сережа молча подвинулся и сейчас же, точно волшебством, потерялся во мраке.

У костра было жарко лицу и ногам, но спина и затылок мерзли. Болотов бросил докуренную папиросу в огонь и сказал:

– Я вот чего не понимаю, Сережа… Нас расстреливают, вешают, душат… Так. Мы вешаем, душим, жжем… Так… Но почему, если я убил Слезкина, – я герой, а если он повесил меня, он мерзавец и негодяй?… Ведь это же готтентотство… Одно из двух: либо убить нельзя, и тогда мы оба, Слезкин и я, преступаем закон; либо можно, и тогда ни он, ни я не герои и не мерзавцы, а просто люди, враги…

– Володя вот говорит, – продолжал думать вслух Болотов, – что все это сентиментальность и что на войне нужно убивать без пощады… «A la guerre comme á la guerre»,[3] – зачем-то перевел он по-французски. – Ну, конечно, нужно… Мы вот и убиваем… Но скажите мне вот что: допускаете ли вы, что этот убитый Слезкин не из корысти, а по убеждению преследовал нас? Допускаете ли вы, что он не для себя, а для народа, именно для народа, заблуждаясь конечно, считал своим долгом бороться с ними? Допускаете вы это? Да? … Ведь может же быть, что из сотни, из тысячи Слезкиных хоть один найдется такой? Ведь может быть? Да?… Ну, тогда где же различие между мною и им? Где? И почему он мерзавец? По-моему, либо убить всегда можно, либо… либо убить нельзя никогда…

С баррикады сполз невидимый в темноте Константин. На мгновение багровый от света, он, позевывая, прошел мимо костра. Сережа, рассеянно провожая его глазами, сказал ему вслед:

---

[3] На войне как на войне (фр.)

– Ты чего, Константин?

– Смена, Сергей Васильевич.

– Смена?

– Так точно, смена.

– Сколько раз тебе говорил, – с досадой заметил Сережа, – не смей без позволения оставлять баррикаду. Чей черед-то?

– Роман Алексеича.

На крыльце глухо покашливал Роман Алексеевич, высокий, сутулый, худой, похожий ночью на заморскую длинноногую птицу. Слышно было, как в его руках щелкнул маузер.

– Роман Алексеич! – ласково окликнул Сережа.

– Чего?

– Вы бы спали, Роман Алексеич, я ведь не сплю… все равно…

– Что вы?… Как можно… Чай мне нетрудно. Кашляя и кряхтя, он с трудом взобрался на вал и долго ворочался на снегу. Когда он наконец успокоился и замолк, Сережа покачал головой:

– На ладан дышит… Экая жалость…

Болотову было обидно, что так грубо прервана нить, как казалось ему, значительных и глубоких мыслей. Помолчав, он задумчиво начал опять:

– Значит, нельзя и надо?… Так где же закон?… В партийной программе? В Марксе? В Энгельсе? В Канте? Да ведь это все чепуха, – взволнованно прошептал он, – ведь ни Маркс, ни Энгельс, ни Кант никогда не убивали людей… Слышите?

Никогда, никого… значит, они не знают, не могут знать то, что знаю я, что знаете вы, что знает Володя. Что бы они ни писали, от них останется скрытым, можно убить или нет. Это известно нам, только нам, только тем, кто убил… Я вот знаю, знаю наверное, что Слезкина невозможно было убить, ни в каком случае невозможно, какой бы он ни был, какой бы я ни был, что бы я ни думал о нем…

По мере того как Болотов говорил, он все более изумлялся себе, своей смелости, своим дерзким вопросам. Его немощные, скупые, рожденные той несчастною ночью мысли еще никогда не выливались в слова, и теперь, когда он громко их произнес, ему стало страшно: он почувствовал, что обманывает себя. Но в чем именно был обман, он понять не умел.

– А мы убили его… – с тоской докончил он и умолк.

– Слезкина убить нельзя… Так… – скучно, точно спросонок, сказал Сережа. – А драгуна можно убить?

– Драгуна?

– Да, драгуна. Почему вы говорите только о Слезкине?

– Драгуна тоже нельзя…

– Ну вот, нельзя… А ведь вы убьете его, как муху, и ваша совесть будет молчать… Кто вчера убил офицера? Вы?… Я? … Константин?… Почему вас эта смерть не волнует? Ведь этот офицер не виновен ни в чем: приказ исполнял… Так почему же? – новым для Болотова, надломленным голосом продолжал Сережа. – Не потому ли, что стреляли мы все и нельзя разобрать, чья именно пуля убила его, и еще потому,

что офицер не кричал, а если и кричал, то не было слышно? Вы говорите: нельзя… Вы и на самом деле, пожалуй, так думаете… Но смерти драгуна вы ведь не чувствуете, вы не видели его смерти, для вас он просто свалился с седла… А у Слезкина вот жена рыдала…

– Вы правы, – задумался Болотов. Он почему-то не удивился, что Сережа не только угадывал его мысли, но и решался оспаривать их. – Но ведь тем хуже… Я тогда ничего не пойму… Вы знаете, раньше, пока… пока мне не пришлось убивать, я думал, что все это просто: партия велит убить – и убил… А кто убьет, тот герой: жизнь, мол, свою в жертву принес. Я ведь долго так думал… А теперь вижу: ложь… Нельзя и надо… Объясните, я не пойму…

– Эх, объяснить, – горько улыбнулся Сережа, – разве я возьмусь объяснить? Разве я знаю? Разве нам дано знать?… Я знаю одно: идешь, так иди до конца либо не иди вовсе… И еще знаю, – прибавил он тише, – «поднявший меч от меча и погибнет»…

На крыльце жалобно скрипнула дверь. К костру медленно подошел Ваня. Он сунул руки прямо в огонь, погрел их и, подняв вверх свои раскосые, узкие, калмыцкие глаза, посмотрел на небо.

– Не спится? – спросил Сережа.

– Не спится… – зевая и крестя рот, ответил Ваня. – Должно, шестой час. Эка, как вызвездило. – Он присел в снег и стал заботливо свертывать папиросу. – Безусловно, к моро-

зу… Давеча Константин убитого офицера смотрел, – доставая пальцами тлеющий уголек, сказал он через минуту. – Сказывает, белый такой господин офицер, кровь с молоком, отъелся на барских харчах… Пуля-то, безусловно, сквозь сердце прошла… Зубаст кобель, да прост, – со злобой прибавил он.

– Вот видите, – сказал Болотов, кивая головою на Ваню, – для него и вопроса нет: на барских харчах отъелся… кобель… никто…

Светало. На востоке забелели бледные, мутно-серые полосы, и звезды тотчас затуманились и поблекли. Костер, догорая, вспыхнул в последний раз. Горсточка раскаленных углей осветила оттаявший полукругом снег, черную, отмерзшую землю и невозмутимое, точно высеченное из камня, лицо Сережи.

– Кобель и есть. А то нет? – зевнул Ваня.

– Да ведь не кобель, Ваня, а человек.

– Безусловно, что человек… Ну а как же иначе?… Что же, смотреть нам на них?

– Да ведь грех, Ваня.

– Знаю, что грех… – помолчав и не подымая глаз, возразил Ваня. – Только что же делать?… Назвался груздем, полезай в кузов… А грех Бог рассудит.

– Бог?

– Никаких я этих слов знать не желаю… – вдруг вспылив и краснея, закричал Ваня. – Знаю: за землю и волю! Вот и

все, и вся недолга… Да, за землю и волю! – повторил он спокойнее и, обращаясь к Сереже, сказал:

– А что, Сергей Васильич, вам невдомек, когда Владимир Иванович приедет?

Сережа ничего не ответил. Он повернул голову к Прудовой улице и чутко прислушался. В утренних сумерках он казался весь серый: серое лицо, серая шапка, серый полушубок и сапоги. На баррикаде закашлялся и грузно зашевелился Роман Алексеевич. Было видно, как он приподнялся, приставил широкую ладонь к уху и замер. Вставала чахлая, морозная декабрьская заря. В прозрачном и чистом холодном воздухе долго и гулко стоял каждый звук. Где-то далеко, за Пресненскими прудами, погромыхивали колеса. Болотов вздрогнул. Через минуту был уже явственно слышен топот копыт по взбитому снегу и звенящий железный лязг. Первый пришел в себя Ваня.

– Никак артиллерия, Сергей Васильич…

Из училища выбежал сонный, опухший от сна Константин и таинственно, наспех зашептался с Сережей. Потом он нерешительно подошел к баррикаде, подумал и вдруг, легко перепрыгнув вал, неслышно и быстро заскользил вдоль домовых стен. Хмурая, недоумевающая, вздрагивающая на морозе дружина собиралась вокруг Сережи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.